

Чмырев Н.



РАЗВЕНЧАННАЯ ЦАРЕВНА  
РАЗВЕНЧАННАЯ ЦАРЕВНА  
В ССЫЛКЕ

АТАМАН ВОЛЖСКИХ  
РАЗБОЙНИКОВ ЕРМАК,  
КНЯЗЬ СИБИРСКИЙ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Николай Чмырев

**Развенчанная царевна.**

**Развенчанная царевна в ссылке.**

**Атаман волжских разбойников**

**Ермак, князь Сибирский (сборник)**

«Public Domain»

1880, 1874

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

### **Чмырев Н. А.**

Развенчанная царевна. Развенчанная царевна в ссылке. Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский (сборник) / Н. А. Чмырев — «Public Domain», 1880, 1874 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03931-7

Николай Андреевич Чмырев (1852–1886) – литератор, педагог, высшее образование получил на юридическом факультете Московского университета. Преподавал географию в 1-й московской гимназии и школе межевых топографов. По выходе в отставку посвятил себя литературной деятельности, а незадолго до смерти получил место секретаря Серпуховской городской думы. Кроме повестей и рассказов, напечатанных им в период 1881–1886 гг. в «Московском листке», Чмырев перевел и издал «Кобзаря» Т. Г. Шевченко (1874), написал учебник «Конспект всеобщей и русской географии», выпустил отдельными изданиями около десяти своих книг – в основном исторические романы. В данном томе публикуются три произведения Чмырева. Первые два романа, «Развенчанная царевна» и «Развенчанная царевна в ссылке», посвящены первой невесте первого царя из дома Романовых – Марье Хлоповой, которая из-за придворных интриг так и не стала царицей. Роман «Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский» повествует о лихом атамане, некогда грабившем суда на Волге, а после прощения, полученного от Ивана Грозного, ставшем покорителем Сибири, народным героем.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03931-7

© Чмырев Н. А., 1880, 1874

© Public Domain, 1880, 1874

## Содержание

Развенчанная царевна	7
Глава I	8
Глава II	11
Глава III	13
Глава IV	16
Глава V	21
Глава VI	23
Глава VII	25
Глава VIII	28
Глава IX	30
Глава X	33
Глава XI	37
Глава XII	40
Глава XIII	44
Глава XIV	47
Развенчанная царевна в ссылке	48
Глава I	48
Глава II	51
Глава III	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

**Николай Чмырев**  
**Развенчанная царевна. Развенчанная**  
**царевна в ссылке. Атаман**  
**волжских разбойников Ермак,**  
**князь Сибирский (сборник)**

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

## **Развенчанная царевна**

*Николаю Васильевичу Невреву посвящает автор*

## Глава I

Рождественская ночь 1616 года была очень морозна, несмотря на то что тучи словно свинцовой пеленой обложили все небо. Москва спала глубоким сном. Нигде не было видно ни одного огонька, только звездочками мерцали с кремлевских гор окна царского терема, сквозь которые пробивался слабый свет лампад, обильно навешанных в царской молельной.

На улицах господствовала могильная тишина, прерываемая лишь воем собак, привязанных на цепь и заменявших собою сторожей в боярских, дворянских и торговых людей домах; нигде не видно было ни одной человеческой души, все как бы замерло.

Было далеко за полночь. На Никитской, в доме дворянина Хлопова, наверху, в женском тереме, замигал свет. Нагнувшись у печки, там стояла на коленях старуха Петровна, мамка единственной дочери Хлопова – Марьи; придерживая лучинкой уголь, она усердно раздувала его. Красноватый блеск на мгновение освещал светлицу и снова гаснул; наконец лучина вспыхнула. Бережно прикрывая рукой пламя, Петровна подошла к столу и зажгла свечу. В одном из углов светлицы на высоко взбитой постели лежала, плотно завернувшись в одеяло, девушка. Ей было шестнадцать лет, но по лицу ее можно было принять за ребенка: черная роскошная коса, выбившись из-под чепца, покрывала подушку, длинные ресницы двумя полукругами обрисовывались на ее лице. Петровна подошла к окну и, приставив к вискам обе ладони, прильнула к стеклу.

– Ничего как есть не видать, все стекла запушило, – прошептала она, – а поди, чай, и к заутрене сейчас зазвонят. Надо Марьюшку побудить... жалко, да что делать! Вишь, словно ангел Господень покоится, спит-то как сладко! – Она медленно подошла к постели и осторожно дотронулась до плеча девушки: – Марьюшка, а Марьюшка!

Девушка потянулась и, медленно открыв глаза, с некоторым удивлением посмотрела на мамку.

– Ты что, Петровна? – спросила она.

– Вставай, касатка, пора!

– Какое пора, – отвечала Марьюшка, плотнее заворачиваясь в одеяло, – смотри, темень какая, а уж как спать-то хочется, – прибавила она.

– Э! Выспаться потом успеешь, а теперь вставать нужно к заутрене.

– Да ведь не звонят еще, Петровна?!

– А тебе бы вот нужно, чтоб звон тебя в постели застал? Экая греховодница... вставай, вставай!

Марьюшка с недовольной гримаской приподнялась на локте и, пожавши плечами, вздрогнула.

– Холодно как! – проговорила она.

– А ты не прохлаждайся, вставай да одевайся скорее, вот и тепло будет.

Марьюшка нехотя спустила с кровати ноги, потом быстро вскочила и начала одеваться.

Послышался удар колокола в Никитском монастыре, понесся звон со всех московских колоколен.

– Ну вот и дождались, а все по твоей милости... придем теперь к шапочному разбору.

– Успеем еще, Петровна.

– Спала бы поменьше, не тянулась да вставала бы, когда старые люди будят, а то теперь придем, чай, не найдем и местечка.

– Да будет тебе, не ворчи, успеешь еще настояться.

– Не ворчи?! Греховодница, право!

Заскрипели засовы, и из калиток, словно муравьи, посыпались москвичи на улицу; в воздухе стоял гул колоколов. Москва сразу оживилась, закипела.

Петровна с Марьюшкой с трудом проталкивались в монастырскую церковь. Народу набилось много, теснота страшная, становилось трудно дышать, пробраться далеко не было никакой возможности. Они остановились почти у входа по левую сторону. Мороз подрумянил щеки Марьюшки, глаза ее блестели. Она уставилась на образ и машинально, следуя примеру Петровны, крестилась; вдруг ей стало как-то неловко, словно на грудь ее стало что-то давить; она невольно повернула голову направо и встретилась с зорко смотревшими на нее глазами. Марьюшка вспыхнула, быстро опустила глаза и отвернулась, но стоять спокойно она не могла, она чувствовала на себе взгляд этих серых глаз, пронизывавший ее. Она украдкой взглянула раза два и успела рассмотреть не спускавшего с нее глаз боярина. Орлиный нос, русая окладистая борода, быстрый взгляд делали его красавцем. В этом лице Марьюшке показалось что-то знакомое, но где, когда она видела его, припомнить не могла. Она перебирала в голове все мельчайшие подробности своей прошлой жизни, но обстоятельства, при котором она видела боярина, как будто не существовало никогда, а между тем она хорошо знала и была убеждена, что когда-то сталкивалась с этим человеком, а этот человек все смотрел и смотрел на нее; ей делалось не по себе от жары, ладана, запаха нагоревших свеч и более всего от напряжения мысли. Разболевшаяся голова начинала кружиться, она еле стояла на ногах.

– Петровна, мне неможется, пойдем домой, – обратилась она к мамке.

– Побойся ты, Марьюшка, Бога: и опоздали-то мы, и до конца не стоим... Грех с тобой, право, – начала нашептывать внушительно Петровна, но, взглянув на лицо девушки, оборвала речь: в лице Марьюшки не было ни кровинки. Мамка перепугалась.

– И впрямь, дитяtko, неможется тебе, пойдем, касатка, домой, пойдем скорее, – заторопилась Петровна, хватая Марьюшку под руку и направляясь с ней к выходу.

Мороз крепчал и крепчал; он сразу привел в себя девушку, которая на воздухе почувствовала себя бодрее. Не прошли они нескольких минут, как за ними послышался скрип шагов. Марьюшка оглянулась. Свет, прорывавшийся в церковные окна, осветил фигуру боярина. Марьюшке стало жутко, она ухватилась за мамку и ускорила шаги. Боярин шел следом всю дорогу. Петровна не один раз оглядывалась и, шепча какую-то молитву, отплевывалась.

Пришедши домой, Марьюшка наскоро разделась и бросилась в постель. Напрасно она закрывала глаза, стараясь заснуть: мысль о боярине не давала ей успокоиться; она ворочалась, сбрасывала с себя одеяло, ей было жарко, душно, разбирала злость на свою память. Петровна, прикорнувшая тут же, почти у постели, не спускала глаз с Марьюшки. Хоть и была она сначала недовольна тем, что и опоздала-то, и не достояла заутрени, но при взгляде на побледневшее личико своей вскормленницы, на ее потускневшие глазки старушечье сердце замирало, душа ныла. Марьюшка для Петровны была счастьем, гордостью. Осиротевшая на первом же году Марьюшка поступила на полное попечение Петровны; эта девочка была ее вскормленницей, воспитанницей, дочерью. Каждая печаль, каждая самая пустая болезнь девочки тревожили Петровну; она не знала, что делать, пичкала свою питомицу всякими лекарствами, поила богоявленской водой и не была спокойна до тех пор, пока Марьюшка не заявляла, что она совершенно здорова. Так было и на этот раз. Увидев в церкви бледность Марьюшки, ее метание в постели, она всполошилась.

– Марьюшка, ты бы попила богоявленской водицы, дитяtko, – заговорила она, подходя к девушке.

– Нет, Петровна, не хочу, у меня уже все прошло.

– А зачем разметалась, коли прошло?

– С мороза, чай, жарко.

– Ну, спи, Господь с тобой, – проговорила Петровна, крестя свое дитяtko и задувая свечу.

А между тем Марьюшка все вспомнила: память воскресила вотчину, в которой она жила четыре года тому назад, в то время когда ляхи свободно гуляли по Руси и творили все, что им вздумается. Марьюшке было тогда лет одиннадцать-двенадцать. Вспомнился ей сад: она бегает,

шалит, и вот через плетень сада заглядывает боярин и глядит, не спуская глаз с нее. Видимо, он любовался ею. Ребенок смущается, старается спрятаться за какой-нибудь куст; боярин улыбается и уходит. Не один раз повторялось это, и Марьюшке вспоминается, что и тогда он смотрел на нее так же, как и сегодня у заутрени.

Да, это он, он самый, только как же его имя? Ведь там и жило одно только боярское семейство, больше никого и не было; как же имя-то?.. Разве Петровну спросить, да нет, совестно... экая память ведь! Вспомнила, где видала, а имя вот забыла...

– Петровна! – тихонько кликнула она мамку.

– Что, дитяtko, аль неможется? – заговорила старуха, поспешно вскакивая.

– Да нет, ничего... Вот мне в голову пришло... вспомнила я... какой боярин на лошади все ездил... когда мы в деревне жили...

– Да тебе это зачем?

– Так, просто вспомнился он... а имя-то его я и забыла...

– Что это, матушка, тебе бояре стали мерещиться? Выпей водицы, право, тебе неможется...

– Совсем не мерещится, так просто вспомнилось, как он мимо нас проезжал...

– Какой же там проезжал?.. Салтыков нешто?..

– Салтыков, Салтыков, вот теперь вспомнила! – весело заговорила Марьюшка.

Довольная тем, что добилась своего, вспомнила, когда и где она видела боярина и как его зовут, она совершенно успокоилась, и не прошло двух-трех минут, как уже спала. Петровна, видя, что Марьюшка уснула, также вздохнула спокойнее, перекрестила свое дитяtko и улеглась.

## Глава II

Не спалось в эту ночь и Михайле Салтыкову, боярину, не спускавшему в церкви глаз с Марьюшки, проводившему ее до самой калитки, боярину, так близко стоявшему к царю, боярину, перед которым все преклонялись, малейшее желание которого исполнялось, бывшему тем же царем на Москве, так как царь ни в чем не ослушался его, делал все и правил государством так, как укажет боярин Михаил. И этот боярин стал вести себя странно, стал не в меру богомолен, не пропускал ни одной службы церковной и ходил на эти службы никуда больше, как в Никитский монастырь. Иногда возвращался от заутрени или обедни веселый, довольный, шутил, смеялся, был милостив, прощал провинившихся холопов, но большею частью возвращался сумрачным, грозным, ни с кем не говорил ни слова, все было не по нем, всякий промах, не так сказанное слово – все ставилось в вину, за все несчастный холоп нес тяжкое наказание.

На этот раз боярин пришел совсем не в себе, был радостен, весел, долго ходил по горнице и, наконец, лег. Но не спалось ему, не оставляли его горевшие огнем щечки Марьюшки, ее выведенные дугой брови, молнией блиставшие глаза; не мог никак позабыть он двух взглядов, пойманных им на лету, брошенных Марьюшкой украдкой.

«Знать, заметила, – думалось ему, и при этой думе как-то сладко защемило, сжалось боярское сердце, – знать, заметила... это в первый раз еще после деревни она поглядела, да не один раз, а два... Только отчего не достояла она службы? Отчего побледнела? Отчего, когда уже дорогой обернулась и увидела его, словно испугалась и будто бежать бросилась, так заспешила. Бойтса она его, что ль? Впрочем, нешто узнаешь девичье сердце, разберешь его? Может, и она вспоминает его так же часто, как и он... Неужто же? Неужто?»

И при этом «неужто» сильнее забилося сердце, жарко стало боярину; он сбросил с себя одеяло и продолжал думать, вспоминать прошлое... И вспомнилась ему Марьюшка девочкой лет двенадцати, в деревне. Только и тогда ее жгучие, большие глаза поразили его, поразили так, что чуть ли не каждый день подходил он к плетню хлоповского сада, чтобы посмотреть на эти глазки.

Прошло некоторое время. В Москве явился царь, боярину, укрывшемуся во время смуты в деревне, предстояла важная роль, так как новый царь был близким его родственником. Он оставил деревню и отправился в Москву, но часто вспоминалась и грезилась ему во сне маленькая девочка с своими чарующими глазами, и странным казалось ему это неотвязчивое воспоминание о ребенке.

Прошло три года, вздумалось боярину зайти раз к обедне в Никитский монастырь. Отстоял он почти всю службу да глянул нечаянно налево и онемел: опять перед ним эти глаза, только глаза не ребенка, а расцветшей вполне девушки. «Не наваждение ли это! – было первой мыслью Михайлы. – Да нет, она, она... других таких глаз, другой красоты не может быть; это она, моя деревенская девочка – Марьюшка». Забыл боярин и про службу, и про власть свою, про все в мире.

В это время он был простым смертным, преклоняющимся перед женской красотой. Как посмотрел он тогда на Марьюшку, так и не сморгнул ни разу, глядя все на нее, а она, спокойная, невозмутимая, усердно осеняет себя крестом и кладет поклоны... Кончилась служба, и Марьюшка, потупив глаза, ни на кого не глядя, вышла из церкви и пошла с Петровной домой. Боярин бросился следом, дошел до ее дома и убедился вполне, что это его деревенская девочка, так как дом принадлежал Хлопову.

С этих-то пор и стал боярин так богомолен, стал ходить в Никитский монастырь. И доволен был и весел, когда удавалось ему увидеть Марьюшку, и возвращался злым, когда, простояв всю службу, он не видел ее.

Но нынче боярин был сам не свой; до этого времени она не бросала на него ни одного взгляда, а нынче заметила да еще рассматривала – знать, не противен.

«Завтра же пойду в Вознесенский монастырь к матушке, – подумал боярин, – расскажу ей, пусть благословит, а там и за сватовство. Хлопов-то будет рад, что ему еще, какого жениха нужно – такого, как я, и не найти ему вовек, да и выгода немалая, посажу в приказ, поди, как наживется... только вот матушка, пожалуй, упрется, с ней ничего не поделаешь, кремь-женщина... Эхма, кабы руки-то были развязаны, не то бы было! Что ей? Заперлась в монастыре, отказалась от мира, знала бы молилась да постничала, так нет – нужно в мирские дела мешаться... Худородная, скажет, тебе нужно боярышню или княжну какую... на кой они мне прах! Другой жены, как Марьюшка, не найти мне, поглядела бы она на нее...»

Он закрыл глаза, но Марьюшка не оставляла его. Вот она входит в горницу, ресницы стыдливо опущены, на щеках горит румянец, идет она легко, свободно, словно плывет по воздуху, подходит к нему все ближе и ближе... вот остановилась, взглянула на него так нежно, так ласково... нагибается... розовые губы полуоткрыты... он чувствует ее горячее дыхание, чувствует, как по его лицу скользят ее упавшие мягкие, шелковистые волосы... он быстро протягивает руки, хочет схватить ее, прижать, обнять горячо-горячо, открывает глаза, но в комнате так пусто, темно... Тоскливо падают руки, грустно он обводит глазами комнату и снова закрывает их, и снова мерещится ему Марьюшка.

В окно забрезжил свет; в горнице становилось светлее и светлее. Так и не удалось уснуть боярину. Лицо его от бессонницы было желто, под глазами темные круги, словно после тяжелой болезни.

«Сегодня хлопотно будет во дворце – праздник. Царя поздравлять будут, – раздумывал боярин. – К матушке не успею ли сходить? Только рано теперь, небось и ворота заперты».

Он оделся и начал ходить по комнате, придумывая, как бы ловчее приступить к матери.

А на дворе сделалось совсем светло, наступил день. Народ закопошился на улице; послышался удар колокола.

– К ранней, – прошептал боярин. – Матушка теперь в церкви.

И он снова начал мерить шагами комнату; но не стерпел – вышел на улицу.

### Глава III

В небольшой, уютной, но с заметно роскошной, боярской обстановкой келье Вознесенского, этого царского монастыря сидела мать Евникия, бывшая боярыня Салтыкова, мать временщиков Салтыковых. Старая, сгорбленная фигура ее была все-таки представительна, внушала к себе уважение. Горбатый греческий нос, почти что подходивший к подбородку, серые лукавые глаза, длинные, седые, нависшие на глаза брови, тонкие сжатые губы – все это вместе весьма не привлекательное лицо заставляло каждого бояться, смотреть со страхом на эту старуху. Она сидела в глубоком кресле, почти уходя в него вся. Перед ней стояла келейница. Ее молодое, цветущее лицо говорило, что монастырская жизнь и постничество не успели еще наложить на нее своей печати. По выражению ее лица можно было догадываться, что она скорее была расположена не к монастырской жизни, а к пользованию всеми благами суетного мира, так широко и раздольно раскинувшегося со всеми своими радостями и соблазнами за монастырской стеной. Узкие, маленькие, неопределенного цвета глаза умели как-то скрадывать и эти полные, горящие страстью губы, и это стремление к шумной мирской жизни. Эти лукавые глаза знали время, когда нужно потупиться, когда метнуть ласку неги, когда, наконец, сверкнуть страстью, огнем. Это была белица Феодосия, баловница и воспитанница Евникии.

– Ну, что ж говорят? – спросила ее, глядя исподлобья, мать Евникия.

– Говорят, рвет и мечет, на стенку просто лезет, – отвечала, скромно потупив глаза, Феодосия.

– Чего ж ей рвать? Царь исполняет обычай, нельзя же ему презирать отцовские да дедовские обычаи! Так исстари заведено, он человек внове, на него во все глаза смотреть да следить... надо... Вот Гришка вздумал своевольничать, да что вышло.

– Говорят, ей не хочется, чтобы царь сам выбирал себе невесту, а чтобы с ее позволения. У нее, вишь, и на примете есть какая-то боярышня.

– Какая такая?

– Не знаю.

– Постарайся узнать непременно, – заметила Евникия.

Наступило молчание.

– Что ж, может, он и эту облюбованную боярышню выберет, – начала снова Евникия, – а не по сердцу придется, что делать, возьмет другую, мешаться в это дело не след, она монахиня. Опять и то: царь волен выбирать, кого ему хочется. Ведь ему, а не ей придется жить с женой.

– Может, обидно, что другая царица на Москве будет, молодая, а то она до сих пор себя царицей величает, – лукаво промолвила Феодосия, метнув в сторону глазами.

Усмешка пробежала по лицу Евникии.

– Царица! Царица! – проговорила она как бы про себя. – Ох, грехи, грехи! Нужно будет поговорить с ней.

– Можно уйти мне, матушка? – спросила келейница.

– Иди, Федосьюшка, с богом, – отпустила ее Евникия, – нужно будет, я позову.

Феодосия отвесила, по-монастырски, поясной поклон и неслышными шагами вышла из кельи.

Разговор шел о великой старице, инокине Марфе, как тогда называли мать царя Михаила Феодоровича, женщине крайне самолюбивой, любившей власть, имевшей громадное влияние на сына, желавшей забрать в свои руки не только власть, принадлежавшую сыну, но и вместе руководить самой душой, жизнью сына-царя. Разговор шел о смотринах царем невест, которые должны были состояться через несколько дней. Марфе хотелось, чтобы царь женился не по влечению сердца, не по своему выбору, а на той, которую она укажет ему. Но как ни властолюбива была Марфа, она, сама того не замечая, подпала совершенно под влияние хитрой и не

менее властолюбивой, но более ловкой матери Евникии, чем и объясняется могущественное временничество Салтыковых.

По уходе Феодосии мать Евникия задумалась. Она хоть и говорила в известном тоне с Феодосией, доносившей ей о всякой мелочи, служившей ей шпионом в монастыре, но настроение великой старицы ее интересовало немало. Она обдумывала положение дела и размышляла о том, нельзя ли с выгодой воспользоваться таким положением. Размышления эти были прерваны.

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, – послышался мужской голос за дверью.

– Аминь! – отвечала Евникия, вскидывая глаза на дверь.

В келью вошел Михаил Салтыков. Евникия ласково взглянула на него. Это был ее любимый сын.

– Здравствуй, Михайло! – приветствовала она сына.

Боярин поклонился и подошел к руке матери.

– Что зачистил? Прежде тебя, бывало, калачом к себе не заманишь, а теперь через день стал ходить, – спрашивала, улыбаясь, Евникия.

– Время свободное: к царю еще не так скоро нужно идти, дома что-то не сидится, а окромя вас куда же мне деваться?

– К брату бы пошел, а то что тебе со мной, старухой, тут делать?

– Брата я вчера видел, – отвечал Салтыков.

– Ох, плут ты, Михайло, плут, – проговорила Евникия, ласково грозя сыну пальцем. – Вижу, недаром зачистил, что-нибудь да нужно.

Боярин смутился.

– Ну вот, неправду я говорю, что ль? Чего покраснел да глазами по сторонам забегал? Лучше уж кайся! С Марфой, что ль, поговорить мне придется, а?

Салтыков из одной руки переложил шапку в другую; он чувствовал себя неловко, был смущен.

– Нет, матушка, не то, – проговорил он наконец решительно, вскидывая на мать глазами, – не нужно мне ничего от царя. Хочу я попросить у тебя милости.

– Милости? У меня?! – не без удивления спросила Евникия.

– Да, милости, благословения на важное для меня дело.

– Что ты морочишь меня? На что тебе мое благословение?

– Мне тридцатый год, – начал Салтыков. Евникия впилась глазами в сына – она как будто боялась проронить слова из его речи. – Мне тридцатый год, а что за жизнь веду, не с кем словом перемолвиться, душу отвести. Брат? Да что ж брат! Он не жена, а бобылем куда наскучило жить.

Евникия поняла, к чему ведется речь.

– Что ж, женись, невесту только найди по себе.

Последние слова холодом обдали Салтыкова.

– Я нашел...

– Уж и найти успел? – недоверчиво проговорила Евникия.

– Нашел, матушка, на свою, знать, пагубу; не дает она мне покоя ни днем ни ночью; примусь ли за дело какое, думаю ли что, спать ли лягу, все она в очах... Извелся я через нее совсем.

Евникия взглянула на сына и действительно нашла в нем немалую перемену. Он говорил правду, что извелся. Ей стало жаль его.

– С чего ж она полюбилась тебе так?

– Хороша она, матушка, так хороша, что и не расскажешь.

– Кто же такая будет эта красавица писаная?

– Дворянка Хлопова... Марья, небогата, правда, да на что мне богатство, когда я от своего не знаю куда деваться? Была бы жена по душе...

Евникия задумалась.

– Так как же, матушка? – нерешительно спросил Салтыков.

– Боюсь, Михайло, не обманула бы тебя эта красота. По одной красоте не узнаешь, что за человек.

– Кабы ты только видела, матушка, ее, никогда бы ты ничего дурного не подумала о ней. Не знаю уж, хороши ли так ангелы... такая на лице доброта, что и не найдешь, кажись, нигде.

– Не было бы нашему роду порухи, – задумчиво говорила Евникия.

– Какая же, матушка, поруха? Род Хлопова небогатый, зато честный; доподлинно известно, что с ворами он не якшался. Возьми бояр наших: который из них не побывал у Тушинского вора? А женись на их дочери, никто не скажет, что нанес поруху роду.

– Что ж, с богом... женись... коли так уж пришлась она тебе по душе.

Салтыков ошалел. Он никак не ожидал такого скорого согласия со стороны матери. Придя немного в себя, он бросился ей в ноги.

– Матушка... благодетельница... родная, – шептал он в восторге.

– Будет, будет! – говорила, ласково улыбаясь, Евникия. – На радости ошалел совсем. Вспомни, какой день-то сегодня. Со своей Марьей ты и царя забыл; тебе нынче раньше всех у него надо быть. Ступай-ка, ступай.

Салтыков, схватив шапку, простился с матерью и, довольный, счастливый, отправился во дворец.

## Глава IV

Крещенские вечера Марьюшка провела весело. Петровна из сил выбивалась, чтобы на Святках дитяtko ее не скучало. Она утруждала свою старую голову, вспоминая свою молодость, вспоминала, как она проводила эти вечера в гаданьях, припомнила все эти гаданья и проделывала их с Марьюшкой. Марьюшка много смеялась, и старуха радовалась. Лили они и воск ярый, и яйцо пускали в воду, и мост под кроватью мостили – все выходило замужество. Решились попытать последний способ гаданья, узнать имя суженого. Вечером в Иванов день накинула Марьюшка шубейку, покрылась платком и потихоньку вместе с Петровной пробежала к калитке; послышался на улице скрип шагов.

– Боязно, Петровна! – проговорила робко Марьюшка.

– Чего, дитяtko, бояться, не съест он, чай, тебя! – уговаривала ее Петровна.

– Что говорить-то нужно? – спрашивала Марьюшка.

– Как, мол, зовут?

Марьюшка набралась храбрости, распахнула калитку и мгновенно сейчас же снова запахла ее; ей показалось, что мимо прошел Салтыков.

– Нет, Петровна, боязно, ух как боязно.

– Полно, глупая, чего бояться-то?

Снова послышались шаги человека, идущего назад.

– Ну, ну, – подстрекала Петровна.

Марьюшка снова открыла калитку и, закрыв от страха глаза, рискнула спросить.

– Как зовут? – пронесся в морозном воздухе ее серебристый голос.

– Михаил! – послышалось в ответ.

Марьюшка опрометью бросилась назад. Прибежав в свою комнату, она скорей разделась и повалилась в постель.

Бодро, весело вскочила на другое утро со своей девичьей постели Марьюшка; также быстро убралась и оглянулась: в светелке она была одна. Петровна исчезла, что немало удивило девушку.

– Где ж она, куда девалась? – с недоумением спрашивала Марьюшка.

Петровна, которая ни на минуту не спускала с нее глаз, которая считала своею священою обязанностью непременно присутствовать при пробуждении своей касатки, помогать ей одеваться, вдруг пропала. Марьюшка уж и встала и оделась, а старухи нет как нет; удивляться было чему.

Дверь в светлицу отворилась. Вошла Петровна, она была озабочена, расстроена до того, что не заметила даже Марьюшки. Подойдя к сундуку, она отворила крышку и начала рыться в нем, откладывая в сторону лучшие наряды Марьюшки.

Девушка смотрела на нее, едва удерживаясь от смеха, наконец не выдержала и фыркнула. Петровна вздрогнула и оглянулась; при виде своего дитяти она присела на корточки и ласково-любовно поглядела на свою вскормленницу.

– Что это ты, Петровна, наряжать, что ли, меня собираешься, где ты пропадала? – спрашивала Марьюшка, продолжая смеяться.

Петровна насупилась и вздохнула.

– Ты что это, словно сердиться? – приставала к ней Марьюшка.

– Какое, дитяtko, сержусь? В толк ничего не возьму. Затевают что-то недоброе; старухе ничего не говорят, словно чужой. Все таятся... При добром деле чего бы, кажись, таиться! – ворчала Петровна, стряхивая слезы, набежавшие на ее старческие глаза.

Марьюшка смутилась. Она горячо любила свою мамушку Петровну, ее горе всегда тяжело отзывалось в сердце девушки. Марьюшка подбежала к ней, обняла ее, заглянула в глаза.

– Что такое, голубушка Петровна? Кто тебя обидел, скажи? – заботливо заговорила она.

– Кто ж меня, холопку, может обидеть? Нешто я человек? Отслужила свое, вскормила, выходила тебя – и будет! Пора и честь знать старой! Не смей и спросить, что они над моим дитятком затевают, – расплакалась старуха.

У Марьюшки набежали на глаза слезы и повисли на длинных ресницах; она нетерпеливо сморгнула их. Одна, назойливая, упала на щеку и покатилась по розовому личику.

– Господь с тобою, мамушка, что такое, скажи! – в тревоге спрашивала Марьюшка, а голос дрожал, печаль слышна была в этом дрожащем голоске.

Обхватила старуха стройную талию девушки, прижала к себе; старая голова ее припала к плечу Марьюшки, а слезы так и льются ручьем. Всхлипывает старуха как-то жалко, беспомощно. Не выдержала и Марьюшка; обхватила голову своей мамушки, целует ее, ласкает, а сама тоже заливается слезами.

– Ну, давай, дитятко, одену тебя, – заговорила старуха, немного придя в себя. – Чай, боярин сердится.

– Зачем одеваться, Петровна? – дрогнувшим голосом спросила Марьюшка.

– Откуда мне знать? Велели одеть, ну, значит, и одевайся.

– Не стану я одеваться, ни за что не стану! – раскапризничалась Марьюшка.

– Как не станешь, коли приказано!..

– Кто приказал? Зачем? Да говори же, Петровна, голубушка! – чуть не плача взмолилась Марьюшка.

– Спала ты еще, – начала Петровна, – меня позвали вниз: смотрю, сидит там твоя бабка Желябужская. «Одень, – говорит боярин, – Марьюшку да сошли вниз». – «Зачем же это?» – спрашиваю я. «Не твоего ума, старуха, это дело», – говорит боярин. А сам таково грозно поглядел на меня, что я насилу ноги свои старые унесла.

Марьюшка побледнела.

– Мамушка... голубушка... неужто ж меня опять во дворец поведут? – с отчаянием, трясась всем телом, спросила она.

– Знать, туда, дитятко.

Марьюшка заплакала и беспомощно упала на скамью. Вспомнилось ей, как недели две тому назад ее тоже бабка водила в царские хоромы, вспомнилось – и кровь застыла у нее в жилах. Привели ее туда, а там уж много девушек; выбрали из них около сотни, в том числе и Марьюшку, выбрали и увели их в другую светлицу, да и давай там измываться над ними, позорить их, уж такого позора никогда, знать, не повторится; не рассказала об нем Марьюшка Петровне даже: оголили ее девичье тело, рубаху даже сняли, пришла повитуха и давай рассматривать ее. При одном воспоминании Марьюшка горела от стыда, голова кружилась у нее, она не заметила даже, как Петровна одела ее.

– Уж и хороша же ты, дитятко, господи, как хороша, – говорила Петровна, глядя на нее, – если тебя во дворец поведут, быть тебе царицей.

«Опять, чай, позорить начнут», – подумалось Марьюшке, и яркий румянец окрасил ее лицо, на глазах заблестели слезы.

– А что думаешь, дитятко, вчерашнее-то гаданье в руку, ведь суженый-то Михаилом назвался... – встрепенулась старуха.

– Так что ж?

– А царя-то как зовут? Михаилом, чай!

Марьюшка грустно улыбнулась.

– Ну пойдем вниз, – снова упавшим голосом заговорила Петровна, – пора... нет, погоди, дитятко, дай я перекрещу, благословлю тебя...

Старуха перекрестила Марьюшку и принялась целовать ее, а у девушки на душе стало так жутко, страшно; сердце тоскливо сжалось, словно беду почувствовало, да и как не беду, коли ее снова, боже избави, такой же сором ожидает, как и в прошлый раз.

– Ну пойдём, небось заждались, – проговорила наконец Петровна, отрываясь от девушки.

На пороге Марьюшка остановилась, оглядела кругом тоскливо свою комнатку, словно навек прощалась она с ней; слезы невольно набежали на глаза, но она сморгнула их, провела по-детски по глазам рукой и стала вслед за Петровной спускаться вниз по лестнице.

Отец с бабкой с ног до головы внимательно осмотрели девушку и остались вполне довольны.

– Ну, надо присесть, – заговорил Хлопов.

У Петровны подкосились ноги, словно навсегда приходилось ей прощаться со своей Марьюшкой.

– Ну, господи благослови! – крестясь и вставая, сказал Хлопов, начиная класть земные поклоны. За ним начали молиться все.

– Теперь надо благословить тебя. Не на шуточное дело идешь, – продолжал отец, вынимая образ из божницы.

Марьюшка поклонилась отцу в ноги. Она была бледна, это торжественное прощание, словно перед долгой разлукой, пугало, тревожило ее. Петровна тряслась всем телом, слезы ручьем бежали по ее старым морщинистым щекам.

Машинально, бессознательно шла девушка с бабкой. Она сильно беспокоилась, боясь повторения того, что было уже раз во дворце.

Прошли Никитскую, повернули направо и пошли по берегу Неглинки, протекавшей под самой кремлевской стеной; вот и деревянный мост, перекинутый через реку и ведущий к Троицким воротам... Миновали ворота и повернули ко дворцу. Вот он уж близко. Сердце упало у Марьюшки. Много бы она отдала, чтобы отказаться от этой прогулки, от этого посещения дворца; будь на это ее воля, она, кажется, дала бы зарок не только не заглядывать в него, а и ходить-то мимо... да что ж поделаешь... не по своей воле идет она, ведут ее по царскому указу.

– Что это мы... опять во дворец? – решила она спросить у бабки.

– Во дворец, Марьюшка, – отвечала та.

– Что ж, опять... опять рассматривать меня будут? – с замиранием сердца спросила девушка.

– Не каждый раз рассматривают-то; будет и одного, – отвечала, улыбаясь, бабка.

Они подошли к крыльцу. Марьюшка остановилась, чтобы перевести дух; сердце ее замерло, дыхание перехватило. Ей казалось, что, вводя ее в эти двери, ее хоронили, хоронили и замуровывали выход. Оглянулась Марьюшка назад, словно прощаясь со всем, что было ей так дорого, со своей девичьей жизнью, своей беленькой небольшой светелкой, со своей старой мамушкой Петровной, и тоскливо, грустно стало на душе у девушки. Она оглянулась кругом. В сводчатых хорах, расписанных яркими красками, находилось кроме нее около сотни других девушек.

Девушки красивые, дородные, одна краше другой. Были здесь и боярские, и княжеские, и дворянские дочери. Все они взглянули на вошедшую Марьюшку, и эти любопытные взгляды, шепот и неопределенные усмешки окончательно смутили девушку.

«Вишь, какие храбрые, – думалось Марьюшке, – чай, вместе над нами насмехались, а им и горя мало, веселятся». Марьюшка потупила глаза; безучастно относилась она ко всему окружающему ее. Ее поставили в ряд с другими.

– Царь, царь! – вдруг пронесся шепот в толпе. Все вздрогнули, быстро начали оправляться и потом словно застыли. Глаза всех девушек были скромно опущены вниз, но не одна из них искоса бросала взгляды на молодого двадцатилетнего царя Михаила Феодоровича. Царь

вошел в сопровождении братьев Салтыковых. Михайло сразу отыскал глазами Марьюшку и побледнел: краше всех была она здесь; быть беде, не миновать ей царского выбора, и сильно забилося у него сердце. Царь смутился; увидев в первый раз в жизни такое собрание девушек, привыкнув находиться в обществе бородатых бояр, в настоящую минуту он чувствовал себя неловко. Не менее неловко было и положение девушек. Все они знали, зачем их собрали, знали, что царь будет выбирать из них себе жену, и при этой только мысли краска все сильнее и сильнее разгоралась на девичьих лицах. При входе царя Марьюшка испугалась; она немного побледнела, и ее длинные ресницы еще более отделились на побледневшем лице.

Молодое лицо царя вспыхнуло; он невольно опустил глаза и остановился, потом, взглянув на длинный ряд девушек, смущенных, глядевших в землю, он немного приободрился и пошел вперед медленно, важно разглядывая московских красавиц. Вот он прошел мимо десяти, двадцати, ни разу не остановившись, не сказав ни одной и слова. Наконец он остановился перед Марьюшкой, у которой от страха стали подгибаться колени, и все ниже и ниже наклонялась ее молоденькая головка; все личико вспыхнуло жарким пожаром. Салтыков едва устоял на ногах. Нужно было употребить громадное усилие, чтобы не выдать себя, чтобы казаться спокойным, – и ему удалось это.

Прошло несколько мгновений. Царь внимательно рассматривал Марьюшку.

«Что ему нужно от меня... что ему нужно? – пронеслись вопросы в ее голове. – Вон сколько прошел мимо, а на меня уставился... чего он хочет?.. Господи! Что это только будет?!» – с ужасом думала она.

А царь тоже немало смутился при виде Марьюшки, остановился и смотрит, а с языка ни одного слова не идет. Прошла томительная минута, царь покраснел не менее Марьюшки. Он чувствовал, что попал как-то невольно в неловкое положение и не может выпутаться из него; нужно сказать что-нибудь, спросить... знает он, что этим молчанием смущает все больше и больше девушку.

«Господи, что же я скажу ей? – думает царь. – А хороша! Ух как хороша!»

Желябужская, видя то впечатление, которое произвела на царя ее внучка, не могла удержаться, чтобы не оглянуться самодовольно, гордо на остальных присутствовавших женщин. Немало завистливых, злобных взглядов поймала она на лету.

– Чья ты будешь, девица? – промолвил наконец царь, обращаясь к Марьюшке.

Та быстро вскинула на него глаза, и столько было в этом взгляде мольбы, стыдливости и какого-то невольного упрека за то неловкое положение, в которое он поставил ее. Она опять искоса взглянула и, заметив Салтыкова, застыдилась еще пуще.

«И этот здесь... Зачем он затесался? Что я скажу царю? Что ему нужно от меня?» – с ужасом думала Марьюшка, не расслышав тихого вопроса царя. Мысли вихрем проносились в ее голове, путались, мешались, она готова была расплакаться.

– Чья же будешь? – повторил царь, не спуская с нее глаз.

– Хлопова!.. – чуть не плача отвечала Марьюшка.

Царь невольно улыбнулся.

– А имя и отчество твое как? – продолжал он ее допрашивать.

«Вот привязался-то!» – думала Марьюшка и снова взглянула на царя; тот смотрел на нее так нежно, так ласково.

– Марья Иванова... – отвечала она немного смелее.

– Кто же твой батюшка, чем занимается?

– Дворянин...

– И матушка есть?

– Нет, у меня мамушка Петровна, а родной нет, померла, – отвечала Марьюшка, глядя уже на царя, а сама думала: «Какой он ласковый, добрый!»

Царь еще раз поглядел на нее, потом повернулся и пошел дальше, но, сделав несколько шагов, остановился, подумал и, быстро повернувшись, вышел из палаты, бросив последний взгляд на Марьюшку.

По выходе царя все пришло в движение, все с еще большим, чем при входе Марьюшки, любопытством стали разглядывать ее, а она все никак не могла опомниться, прийти в себя после разговора с царем.

«Кажись, все уже кончилось, можно бы и домой идти, – пришла ей в голову мысль. – То-то Петровна будет охать да удивляться, как порасскажу я ей».

– Что ж, теперь домой? – обратилась она к бабке.

– Что ты, что ты, дитяtko! Никак нельзя, пока не придут от царя да не скажут, чтоб расходились, – отвечала ласково бабка.

Вошли боярыни. В палате пронесся шепот. Все вопросительно смотрели на них.

– Хлопова... Марья Ивановна?.. – спрашивали боярыни.

Желябужская подхватила внучку и выдвинула ее к боярыням. Те почтительно поклонились ей.

– Государь изволил выбрать тебя своей невестой и приказал свести тебя на верх, в царицыны покои, – передали они ей царскую волю.

Марьюшка растерялась, с испугом оглянулась кругом. Ей хотелось бежать отсюда, бежать без оглядки к своей мамушке Петровне, просить ее защиты, но боярыни с величайшим уважением, но тем не менее настойчиво взяли ее под руки и повели в царские покои перед расступившейся перед ними толпой.

## Глава V

Задумчиво ходил из угла в угол по своей светлице Иван Васильевич Хлопов. Проводив дочь на царские смотрины, он стал беспокоен; всяко ведь бывает: иной раз счастье прямо с неба валится; понравится Марьюшка царю, вот и счастье, да какое еще! Тогда он первое лицо почти в Москве; все в его власти – что хочет, то и творит; первый советник царя; бояре перед ним, мелким, ничтожным сейчас дворянином, заискивают, кланяются; ему везде почет... богатые поместья так и сыплются ему в руки... Было отчего быть беспокойным, отчего задуматься.

– Эх, кабы?.. – не выдержал, проговорил вслух Хлопов.

Он подошел к окну – стекло запушено морозом, да и забор торчит перед глазами; все равно ничего не увидишь.

– Долгонько, – шепчет Хлопов. – Впрочем, мало ль их там, сотня, а то и больше, поди, разгляди да выбери...

Прошло часа два или три после ухода Марьюшки. С каждой минутой отец волновался все больше и больше.

Хлопов сел и начал барабанить по столу пальцами; брови его надвинулись на глаза; он делался все сумрачнее; на лбу показались морщины.

«Нет, дело не выйдет, – продолжал думать он, – мало ли там красавиц найдется... хороша, правду сказать, и Марьюшка, да не то небось надо там... моя Марья кроткая, тихая такая... у нее и на лице-то написано, что скорей в монастырь ей следует, чем на царский стол... нет, не след и думать пустяков... и то, чего это я забрал блажь в голову! Повели ее, как и всех водят, а я уж и рассчитывать стал, как и что будет! – горько усмехнулся он. – Эх ты, беднота, беднота наша! Куда только не занесешься от тебя... вишь, дочку на царский стол уж посадил, московской царицей сделал...»

На дворе хлопнула калитка. Хлопов вздрогнул, быстро поднялся с места и подошел к окну. Напрасно он старался протереть стекло, обледенелое и покрытое инеем, – оно было темно, непрозрачно.

В прихожей послышались шаги. Хлопов повернул голову к двери и увидел Желябужскую.

– Ну? – спросил Иван Васильевич тещу, не спуская глаз с двери и поджидая Марьюшку, но, взглянув на лицо Желябужской, он сразу понял все и зашталался. Если б не подоконник, о который он уперся рукой, то упал бы.

– Марьюшка приказала тебе кланяться, – заговорила Желябужская, – она теперь царевна стала, наверху, в царицыных покоях.

– Как... сразу... наверх?..

– Так сразу и наверх... пришли боярыни, поклонились ей чуть не в ножки и повели...

– Что ж царь, царь-то что?

– Что ж царь? Царь ничего, облюбывал девку, и конец, – говорила ликовавшая в душе Желябужская, освобождаясь от душегрейки.

– Облюбывал... как облюбывал-то, расскажи, матушка, толком, по порядку.

– Что ж тебе по порядку рассказывать, чай, сам порядки знаешь, – продолжала томить его старуха.

– Откуда я порядки эти буду знать? – нетерпеливо говорил Хлопов. – Что я, бывал, что ли, на смотринах?

– Ну, пришли мы, а там девок уже набрано страсть Господня, – начала наконец рассказывать Желябужская, – построили их всех в ряд, и мы, старухи, тут же стоим; вдруг царь выходит... Посмотрел он, посмотрел да шась прямо к Марьюшке, а она, моя голубушка, испугалась, трясется вся; царь на нее глаза уставил и улыбается, а потом заговорил.

– Что ж заговорил-то он?

– Что? Известно, что при таком деле цари говорят, спросил, чья она... про Петровну говорила...

– Про Петровну?

– Ну да, Марьюшка сказала, что у нее есть мамушка Петровна.

– Дура девка!

– А ты не очень-то! – вступилась бабка. – Ты что? Дворянин мелкий, а она... поди-ка достань ее теперь, царевну-то!

– Куда уж нам! – самодовольно улыбаясь, проговорил Хлопов. – Теперь ее и Марьей не назовешь, величай царевной.

– Посмотрел это ее царь, – продолжала Желябужская, – поговорил с ней, а на других-то уж и смотреть не стал, повернулся и вышел, а тут вскорости и боярыни пришли, поклонились ей с таким почетом, объявили царскую милость, повели на верх... вот и все, – заключила она.

Хлопов перекрестился, положил земной поклон и встал.

– Оглянулся Господь и на нашу бедность, – промолвил он радостно. – Знаешь ли, матушка, какое счастье-то, когда дочь царица? Понимаешь ли?

– Уж и не говори, у меня в голове так и шумит, так и шумит, так просто звон какой-то, ничего не пойму, ничего не соображу.

– Сообразишь ли?..

Шум прервал речь Хлопова.

– Батюшка, бояре, родимый, царские бояре идут! – отчеканивала босоногая девчонка Грунька, влетая стрелой в светлицу.

– На место! – крикнул на Груньку Хлопов.

Та так же быстро исчезла, как и влетела. Хлопов отправился в прихожую и низкими поклонами встретил царских бояр.

Бояре вошли в светлицу; один из них выступил вперед.

– Государь царь и великий князь всея Руси оказывает тебе и всему твоему роду великую милость, – начал боярин. – Государь изволил дочь твою, Марью Ивановну, поять себе в невесты и указал тебе и твоим ближайшим родственникам, нимало не медля, явиться во дворец.

Боярин закончил. Хлопов низко, почти земно поклонился ему. Он совсем растерялся и не нашел сказать ни одного слова. Бояре вышли. Хлопов начал суетливо собираться во дворец.

## Глава VI

Марьюшка точно во сне находилась, когда ее привели на верх в покои, занимаемые царицею. Сравнительная громадность покоев, раскрашенные узорчатые стены и своды – все это давило, как-то уничтожало ее. Невольно при виде этой царской роскоши являлось у девушки сравнение с бедненькой беленькой светлицей, в которой она жила у отца; и Петровна казалась такой старой, сторбленной в сравнении с этими дородными, раскрашенными румянами боярынями, которые с этого времени должны были служить ей, ухаживать за нею.

Испуг прошел, осталось только смущение. Лицо Марьюшки горело, глаза растерянно бегали по сторонам; она чувствовала неловкость при виде того почета, уважения, ухаживания, которые рассыпались перед бедной дворянской девушкой, еще несколько часов тому назад скромно и тихо шедшей по улице со своей бабушкой...

«А где же бабушка?» – пронеслось у нее в голове. Она оглянулась, искала ее глазами, но не нашла. Все эти новые лица мешались, путались перед нею; она опустила глаза и как будто окаменела.

Если бы спросили ее, она не могла бы дать ясного отчета в том, что происходило с ней. Она смотрела, слушала, но что творилось у нее перед глазами, что говорилось при ней, она почти не сознавала; голова ее кружилась от неожиданности, от смущения и чего-то такого, чего она не испытывала никогда в жизни. Что-то странное, непонятное, никогда небывалое чувствовалось у нее на душе, на сердце. Детская, шестнадцатилетняя девичья душа вдруг начала просыпаться, мужать, делаться открытой для честолюбия, желания властвовать. Ей вдруг начали нравиться этот почет, низкие поклоны, царские, наконец, хоромы; ей не хотелось бы, было бы тяжело возвратиться к отцу; одного только ей доставало теперь: ей бы очень хотелось, чтобы сюда во дворец привели ее старуху, мамушку Петровну. От волнения она вздрагивала, закрывала глаза, чтобы хоть немного прийти в себя; а боярыни все так же торчат перед ее глазами.

Явилось духовенство в облачении. Начали над ней читать молитвы, поминать имя Настасьи, надели на нее царский венец, какой обыкновенно надевали в подобных случаях на царских невест, и ушли. Ее начали поздравлять, называть царевной, Настасьей Ивановной.

«Какая я Настасья? Я Марья, – подумала она, – зачем они перекрестили меня?»

Подходят боярыни к ней, такие солидные, почтенные, целуют у нее, молоденькой девочки, руку. Царевне так зазорно, стыдно; она бы от этого стыда спряталась куда-нибудь подальше, так ей неловко протягивать руку.

«Чего ж, вправду, стыдиться? Теперь я царевна!» – приходит ей в голову мысль, и она смелее протягивает руку. Вот наконец отворяются двери, появляются бояре Салтыковы, а за ними отец, дяди. Царевна вспыхнула, хотела броситься к ним, да боярыни как-то странно смотрят, что она не знает, что и делать, и остается на месте, тоскливо опуская голову.

А родные кланяются, царевна соромится, головка ее склоняется все ниже и ниже.

– Поздравляем тебя, царевна, матушка Настасья Ивановна, – слышится ей голос отца.

«И он, и он меня Настасьей величают, царевной. Господи, что ж это такое?» – думает бедная девочка, и слезинки навертываются на глазах, и готовы брызнуть они: так не нравится ей имя Настасья. Царевной величают, это ничего, хорошо, только бы Марьюшкой звали.

– Батюшка!.. – промолвила наконец царевна.

– Что прикажешь, царевна? – почтительно спрашивает отец.

«Царевна... прикажешь... уж и дочкой, и Марьюшкой не назовет», – думается ей, и так тяжело делается у нее на душе; тоска сжимает ей сердце. Хорошо быть царевной, только что-то уж скучно, все отказались от нее, словно и родни нет, и девочка-царевна готова расплакаться.

– Пришлите, батюшка, Петровну ко мне, – почти сквозь слезы просит царевна.

– Зачем она тебе, царевна? Что ей здесь, глупой холопке, делать? – отвечает отец.

– Мне без нее скучно будет!..

– Как царь прикажет, так тому, царевна, и быть, а я здесь не волен.

– Я попрошу... царя, – проговорила царевна и вспыхнула вся.

Визит был окончен; отец и дяди опять низко поклонились и подошли к ее руке; царевна обхватила шею отца и поцеловала его.

Наступал вечер. Царевна после всех волнений была почти больна. Боярыни ее оставили, но их место заняли бабка Желябужская и боярыня Милюкова.

Царевна начала тяготиться даже присутствием бабки, ей хотелось остаться одной, подумать, но ее не оставляли ни на минуту, не спускали с нее глаз.

«Господи, да это тюрьма какая-то!» – подумала она и тоскливо огляделась.

– Устала, царевна? – заботливо спрашивает ее бабка.

– Устала, бабушка, хочется вздохнуть немножко, посидеть... одной, – нерешительно произнесла последнее слово царевна.

– Что ж, останься, мы, пожалуй, уйдем, – промолвила бабушка, поглядывая вопросительно на Милюкову.

Та поднялась, и они вышли.

Царевна взглянула свободнее, какая-то тяжесть спала с нее. Она вздохнула и слегка потянулась.

Небо было красно, обещал быть мороз. Царевна подошла к окну. Перед ней богатой панорамой разбросилось Замоскворечье, внизу лежала закованная в лед Москва-река, десятки церквей возвышались над деревянными постройками тогдашней Москвы.

«Ведь это все мое теперь, – думала царевна, бросая взгляд на развернувшуюся перед ней картину, – все мое... и эти дома, и реки... и все, все».

Долго стояла она, глядя в окно, а тени все гуще и гуще ложились на город, в покое делалось темно, пришли зажигать свечи; царевна отошла от окна и села в кресло.

«А муж у меня красивый какой будет, – думалось ей, – да какой добрый, ласковый... любить будет крепко».

И перед ней встала фигура молодого царя. Царевна с улыбкой вспоминает о нем, но малопомалу фигура эта как-то ступшевывается и исчезает, ее заменяет другая... другой человек, другое лицо: глаза этого выразительнее, лицо смелее, красивее... Царевна задумалась.

«Этот куда краше царя, – мелькнуло в уме царевны, и она испугалась при этой мысли, – ведь я теперь уж не своя, я невеста царская, а думаю о чужих, грех-то какой, батюшки!»

Но образ боярина так навязчиво лез в глаза. Царевна краснела, мучилась, но Салтыков не покидал ее. Она встала и прошлась по ярко освещенному покою.

Услыхав шаги царевны, снова явились в покой бабка с Милюковой. Они принесли с собой ящик с забавами, состоявшими из ниток жемчуга и драгоценных камней, принесли и сластей разных; у ребенка-царевны разбежались глаза... И позабавиться хочется, и сласти куда как хорошо выглядят, так и манят к себе, и чего только не было наставлено здесь... Ребячество взяло свое, царевна набросилась на сласти.

– Не кушай много, царевна, не поздоровится тебе, – заметила бабка.

А царевна и слушать не хочет ее, улыбается да пробует сласти одни за другими.

## Глава VII

Церемония выбора царской невесты была окончена; имя выбранной наречено; по церквам отдано приказание о поминовении на ектениях новой царевны. Все обряды исполнены, и уж далеко за полдень бояре и чины придворные, обязанные присутствовать при церемонии, почувствовали себя свободными и стали расходиться.

Михайло Салтыков вышел из дворца чуть не шатаясь. Все пережитое им нынче, разбитые в одно мгновение мечты, разбитые одним царским взглядом, одним словом; потом это перемоганье самого себя, старание не выдать себя, своего горя, поздравления царя в то время, когда на сердце лютая тоска, напускной веселый вид – все это тяжело отозвалось на боярине, сломило его, и, только выйдя из дворца, – когда обхватил его холодный, морозный воздух, – он немного пришел в себя. Но горе еще могучее, сильнее овладело им, но и то уж было легче, что здесь, на улице, он был свободен; он знал, что никто не наблюдает за ним, не подмечает его взглядов, он чувствовал себя свободным, но и покинутым, словно одиноким; и это одиночество чувствовалось нынче как-то глубже, делалось как-то страшнее.

Выйдя из дворца, он остановился на дворе. Были сумерки. Темнело. Салтыков стоял в раздумье. Заскрипели чьи-то шаги по снегу, он вздрогнул и обернулся – к нему подходил брат Борис.

– Меня поджидаешь? – спросил подошедший. – Не думаешь ли зайти к матушке?

– Нет, я так остановился; целый день в хлопотах, устал, а на улице так свежо, хорошо, – отвечал Михайло.

– К матери-то зайдешь или нет? – снова спросил Борис.

– Нет, я домой...

– Она, чай, ждет, узнать хочет...

Михайло как-то неопределенно улыбнулся.

– Она, поди, и без нас знает, на что ж у нее Феодосия.

Они прошли молча несколько шагов. Борис искоса взглядывал на брата несколько раз, тот делался все мрачнее и мрачнее.

– Михайло? – заговорил нерешительно Борис.

– Ты что? – встрепенувшись, спросил Михайло.

– Что это ты?.. Словно не в себе?..

– Говорю, устал очень...

– Зайдем ко мне, благо ближе, посидим, потолкуем...

– О чем толковать-то?

– Потолковать есть о чем...

– По мне, так и зайдем, все равно...

И действительно, ему было все равно куда ни идти теперь. С братом ему особенно стесняться было нечего, о горе своем ему не было надобности говорить, а расстроенный вид мало ли чем можно было объяснить, оставаться же одному так тяжело, так страшно.

Они подошли к калитке, Борис постучал кольцом, быстро распахнулась она перед боярами. Большая, освещенная комната, уставленная широкими, обитыми персидскими коврами скамьями, приветливо встретила бояр.

Михайло подошел к столу и сел, рука его, запущенная в волосы, нервно перебирала их. Борис взглянул на него и подошел к двери, заглянул в нее и плотно затворил. Подойдя к столу, он сел напротив брата и пристально, не спуская глаз, несколько минут глядел на него. Михайло, потупив глаза, не проронил ни одного слова.

– Новый род, надо полагать, теперь явится, силу заберет, – прервал молчание Борис, все так же глядя на Михаила.

– Да, новый род... что ж, если и заберет силу... за себя что ж бояться?..

– Бойся не бойся, а того, что было, не будет!

– Был бы ты таким же, а то все по-старому будет.

– Ну, брат, этого не говори, женина родня, чай, поближе нас с тобою будет.

– А головы у этой родни лучше наших, что ли?

– Эх, Михайло, сам знаешь, что не то говоришь!.. Иной раз мошка какая-нибудь, дурак влезет в милость, и голова явится, и сила, а мы с тобой, люди умные, позади останемся, ни с чем, да, пожалуй, еще и в вотчины свои угодим, а глупые-то люди на наших с тобою местах заживут припеваючи.

– Никогда этого не будет, – уверенно отвечал Михайло, – глупому с умным тягаться тяжело, не сумеет он; значит, и толковать об этом нечего.

– Почем знать, может быть, Хлопов и неглуп...

– Большого ума пока за ним не водилось...

– Да ты откуда это знаешь?

– Мало ли что я знаю! – уклончиво отвечал Михайло.

– Чует мое сердце, что немало нам придется возиться с новой-то родней царской.

– Ничего не придется. Боишься только да тревожишься напрасно... одно пойми: если мы с тобой и оплошаем, не сумеем сладить, так на что же у нас матушка с великой старицей Марфой Ивановной; сам, чай, хорошо знаешь, что Марфа Ивановна без матушкиного совета шагу не ступит, а царь пока у нее на веревочке ходит.

– Сам говоришь пока, а посмотри: женится – у жены на веревке будет ходить, да и то сказать, и матушка, и Марфа Ивановна куда немолоды, того и гляди, помрут, на них, значит, надежда плоха.

– Словно ворон закаркал! Погоди еще, поглядим, увидим, будет опаска, тогда и поговорим, и за дело примемся, а то что зря языком болтать.

– Не зря!.. Знаешь что? – торопливо заговорил Борис.

– Ну?..

– Надо бы, пока сила да власть есть, покончить с этими Хлоповыми.

– Как же это мы покончим с ними?

– Не будет царевны, не будет и их! – загадочно произнес Борис.

Внутри у Михайлы что-то дрогнуло, словно оборвалось что, он с испугом взглянул на брата:

– Куда же ты ее денешь?

– Всякие ведь попадают в царские невесты, иная обманом войдет, а там, глядишь, и выйдет какая-нибудь порченная – ну и ссылают ее.

– Так, по-твоему, все должны быть порченными? Царю, выходит, и жениться не след?

– Зачем не след, коли на руку будет, пусть женится, только Марье, или как, бишь, ее, Настасье, царицей быть не след.

Михайло уставился на брата. Взгляд его как будто застыл; ужас и испуг отражались в этом взгляде.

– Нет, этому не бывать! – с силой, решительно произнес очнувшийся от первого впечатления Михайло.

– Иль струсил?

– Не ждал я от тебя этого, – заговорил в волнении Михайло, поднимаясь с места. – С бабами воевать, баб портить! – в негодовании продолжал он. – Ты родни боишься, что дорогу у тебя перебьет, так и воюй с родней, царевну-то за что, она-то при чем?..

Борис с изумлением смотрел на него.

– И вот что скажу я тебе: ежели что случится... сам все открою, не погляжу, что брат, не пошажу тебя!

– Ты с ума сошел?!

Михайло поглядел на брата: и гнев, и презрение виделись в этом взгляде.

– Бабий воевода! – проговорил он, выходя, не попрощавшись с братом.

Не легче стало боярину от разговоров с Борисом: от него он услышал то, чего прежде ему и в голову не приходило; да и как придет? Давно уже не практиковался выбор царских невест. После Грозного времени прошло немало. Он был еще ребенком при нем: откуда ему знать старые дворские порядки, да и старое-то все перемолото и по ветру развеяно; теперь все вновь, и самая жизнь какою-то новою кажется, а вот, поди, старая-то закваска дворская такую же осталась, глубоко, знать, корни пустила, коли молодые побеги пропитаны тем же ядом, как и старый, истлевший уже ствол: те же ковы, те же интриги, те же подкопы друг под друга. Уж если брат решился пуститься на такое дело, как порча царской невесты, что же другие-то, мелкота разная, которой терять нечего, которая ни перед чем не остановится, ни перед каким воровским делом, да и чего останавливаться, чем рискуют они? Головой? На кой она им прах? Одно из двух: или воровски да злодейски добудут желаемого, чтобы жилось хорошо, или голову сложат.

И жутко, куда жутко стало ему, страх обуял его за царевну, за его Марьюшку. Виновата ли она, этот ребенок, в том, что царю приглянулись ее чарующие очи, ее чудные брови, ее милое детское личико?

– Не дам ее в обиду, хоть голову сложу, предателем стану, а ее не выдам! – шептал боярин.

А сердце все сильнее сжималось, да сильнее, большее как-то делалось, тоска да грусть такие обуяли его, что в прорубь бы бросился, все легче бы было.

Пусто показалось ему в покоях; самые стены словно вместе с ним чувствовали эту пустоту, от них веяло таким холодом... Один он был в этих стенах, некому было развлечь его горе, его тоску. Если бы не этот камень, лежащий гнетом на его душе, задушивший в нем все живое, он расплакался бы, в слезах бы вылил эту тяжесть, да слез, к несчастью, не было: горе высушило их.

Давно ли, вчера ведь только, он был почти счастлив, вчера он думал, как посватается вслед за выбором царем невесты, думал о житье с Марьюшкой, своей любой. Все препятствия были устранены, ничего не стояло на дороге, забыл он только про одно обстоятельство, что и Марьюшку также будет смотреть царь, а при виде ее разве устоит кто, разве не привяжется к ней душой с первого же взгляда? Пусть бы уж другие препятствия, только бы не это, только бы царь не стоял на дороге. Салтыков при своей силе все поборол бы, все бы устранил попавшееся ему на пути, только у царя не вырвать ему Марьюшку; крепки царские запоры, не уйти ей из-за них, да и захочет ли она сама бежать оттуда, не увлечет ли ее почет, царская роскошь... она такой ребенок – соблазнится на всякую игрушку.

– Одно бы теперь, одно бы, – шептал боярин, – узнать, люб ли я ей?.. Все легче бы... все взглянула бы когда ласково... да мало ль что бывает, может быть, я и дороже царя был бы для нее... всяко бывает...

Он провел рукою по лбу, как бы стараясь разгладить морщины.

– Эх! – крикнул он, сжимая захрустевшие руки и потрянув головой, словно стараясь прогнать от себя этот мучающий его неотвязный призрак Марьюшки, да не так, видно, засела она у него на сердце, чтобы, потрянув головою, можно было прогнать ее. Видится она ему теперь в царских покоях, смущенная, покрасневшая, со слезинками на глазах; видится она ему такую, какою была сегодня утром, в девическом царском венце... видится ему царская опочивальня... она вдвоем с царем, он ласкает ее, целует ее лицо, обнаженные плечи... ластится и она к нему, как голубка, обвивает руками его шею, целует его, голубит, и стынет кровь в его жилах при одной этой мысли, и немеет он, и дрожь пробегает по телу, а голова все ниже и ниже склоняется и бессильно падает на порывисто дышащую грудь.

## Глава VIII

Новизна положения для Марьюшки скоро закончилась; сначала все ей было в диковинку: и одевание ее, когда она проснется, и ухаживание, хола да нега, и на сласти разные набросилась она по-детски, а потом приелось все ей, прискучило, начала она скучать. Дома куда веселее было: и посмеется, бывало, и порезвится, и пошутит со своей доброй мамушкой Петровной. Вольно было... а здесь эти чопорные боярыни... шагу ступить не дадут, заперли, словно в клетку, и сторожат, в глаза заглядывают, вечно торчат перед ней; заскучает – пристают к ней с расспросами: здорова ли, может ли ей... Так все это скучно. Выпадает часок-другой в день – останется она одна в покое, и тогда не веселей делается, не знает, за что приняться; подойдет к окну, перед глазами одна картина: тот же снег, та же замерзшая река, то же Замоскворечье. Царь ли придет, тоже не легче: совестно как-то делается ей, стыдно, глаз не подымет. Возьмет он ее за руку, а сам молчит, и царевне словно не хватает чего, ей хочется ласки не такой, какую царь оказывает ей. Ей хочется любви, страсти; поглядит она искоса на царя: лицо у него такое доброе, ласковое, смотрит на нее с любовью, да все не то, все словно чего-то недостает, и защемит девичье сердце, слезы набегут на глаза. Царь, заметив это, делается еще ласковее, нежнее, а ей, напротив, досаднее, обиднее: и на себя злится, и не знает, куда сбежала бы в это время.

– Что это, Настя, ты словно боишься меня, не любишь? – конфузливо спрашивает ее царь.

Царевна смутится, не знает, что сказать ей, а царь не отстает от нее с расспросами, он встревожен молчанием царевны, в глаза ей заглядывает.

– Люб ли я, Настенька, тебе? – дрожащим голосом спрашивает он невесту.

– Люб... – нехотя, краснея, отвечает царевна.

– Что же не поглядишь на меня, словно сторонишься?

Царевна взглянет на него, и будто жалко ей станет царя: загорится в ее глазах сожаление, а может, и ласка блеснет в них.

– Нет, царь, ты мне люб, очень люб! – отвечает она, глядя на него, и хочется ей любить его... хочется... и думается, что и впрямь она любит, что он дорог ей.

А царь, глядя в ее ласковые глаза, не чуется от радости. С каждым днем он все сильнее и сильнее привязывается к своей царевне; ему кажется, что без нее и не жить ему, без ее ласки, без этих томных, чарующих глаз и солнышко не так будет светить ему: берет он ее за руку и сжимает. Царевна улыбается, отвечает таким же пожатием, и оба краснеют, и у обоих какая-то нега разливается по телу.

Уйдет царь, и опять скука... и стыдно ей делается за свои речи, за ласки.

«Что это, словно и муж он мне, что я говорю ему такие срамные речи, что люб он мне и руки еще жму!» – думается ей, а сама покраснеет, разгорится... Явятся опять боярыни, рассматривают ее раскрасневшееся личико, лукаво улыбаются, перешептываются, а ей становится еще стыднее, отворачивается от них, чуть не плачет.

– Ласков ли царь? – лезут к ней с расспросами.

– Знать, ласков. Вишь, царевна зарделась как вишенка. Девушка без мужской ласки так не зарумянится, – отвечают за нее боярыни.

«Господи, что ж это такое, что им нужно от меня?! Кабы обвенчана была, царицей, прогнала бы сейчас, а то царевна, царевна, а власти вот нет их выгнать!» – горюет царевна.

Наступает ночь, и тогда только успокаивается наконец царевна. Остается она до утра одна, совершенно свободная, никто и ничто не стесняет ее, завалится она в свою постельку и не заснет крепким сном, как засыпала, бывало, прежде, когда жила у отца, а долго, долго думает о пережитом дне, о будущем. Куда стала теперь серьезнее царевна против прежнего: думает о тех, кого видела, что слышала, что завтра будет; а завтра, говорят, нужно идти к жениховой

матери, великой старице Марфе, подарки ей нести, а уж куда как не хочется видеть ей эту строгую, суровую монахиню. Была она у нее раз, так холодом от нее и повеяло, не полюбилась она ей с первого взгляда, обошлась она с царевной так неприветливо, сердито, словно не по душе ей было брать царевну себе в невестки, а завтра нужно опять идти, опять терпеть пытку... хоть бы свадьба скорей, авось лучше бы было.

«А отчего это Салтыков с меня глаз не спускает, смотрит так жалостно, так жалостно... что тоску нагоняет, жалеет меня, должно быть, знает, что несладко живется мне здесь... смотрит совсем не так, как тогда, в церкви... а он, должно быть, добрый, такое лицо у него хорошее... куда красивее царя... вот если бы он вместо царя... как бы я любила его!» – раздумывает, засыпая, царевна.

А во сне опять Салтыков не дает ей покоя: снится ей, что она в деревне, в саду, только не маленькая девочка, а такая, как теперь – невеста-царевна, а он возле нее, говорит ей такие ласковые речи, и уж куда жутко делается царевне от этих речей.

Проснется она и смотрит испуганными глазами по сторонам; никого нет, лампы тускло освещают ее опочивальню; она перекрестится, закроет глаза и начнет читать молитвы от дьявольских наваждений; уснет – и опять лезут ей в глаза бабки, боярыни, царь, будущая свекровь, все это путается между собою, мешается... Царевна открывает глаза, а на дворе уже свет брезжит. Настанет утро, явятся боярыни, и опять наступает день, так похожий на вчерашний, такой же и дальше будет... и дальше...

Тянутся эти дни медленно, один за другим, проходят недели, наступил пост, а там и весна пожаловала, вскрылась река, зазеленели сады, стала как-то вольнее, свободнее дышать грудь, а царевна все томится и томится в своей золоченой клетке, величаемой верхом царского дворца, никуда не выходит, только и знает один выход – в церковь да в Вознесенский монастырь к великой старице. В последнее время хоть немного стало веселей, заговорили о свадьбе, начали готовиться к ней, наряды шить.

– Перед таким делом к Сергию преподобному нужно съездить, помолиться святому угоднику, – заметила как-то великая старица.

Решено было вскоре после Святой недели отправиться на богомолье, в лавру, а по возвращении оттуда отпраздновать и свадьбу.

## Глава IX

Словно в поход собирались на богомолье. Длинный поезд двинулся в путь; чуть не целую версту занял он, наполненный боярынями, придворными челядинцами, немало и стрельцов сопровождало царя. Великая старица в свою очередь окружена была монахинями, в числе которых находилась и мать Евникия с своей неразлучной спутницей Феодосией, которая не с одним уже стрельцом успела перемигнуться огненным взглядом, перекинуться двусмысленным словом.

– И пес девка, даром что черноризка; одно слово – огонь! – говорили между собою стрельцы.

– Какая она черноризка, это ее только нарядили жуком, а она небось спит и видит, как бы замуж выскочить.

– Зачем баловать, замуж! Так сманить можно, отчего же, поди ищи ее тогда в нашей слободе.

– Ну не на ту напал; видишь, в ней сто бесов сидит, она те проведет и выведет.

Но не то совсем думала Феодосия; она никого не хотела проводить, ей бы только волюшки дали, волюшки беззаветной, гульбы с молодым парнем. Нагулялась бы, пожила бы вволю, а там хоть и опять в черную рясу да за высокие монастырские стены, а то куда невесела жизнь у Евникии: только ханьжи да притворяйся, знай только подслушивай да переноси, а благодарности немного увидишь, да и молодость уходит так себе, зря, задаром; и мечет Феодосия соблазнительные взгляды направо и налево и ищет себе счастья.

А Евникия в это время сидит в рыдване темнее ночи, извелась она, глядя на своего сына любимца, видит она, что тает он, знает и причину, отчего тает, да ничего не поделаешь, ничем беды не поправишь, хоть и сможет она расстроить царскую свадьбу, хватит у нее на это и умения и силы, да что проку-то в этом?! Если и разойдется свадьба, царевну сошлют сверху, ушлют туда, куда ворон костей не заносил, все равно не видать Михайле как своих ушей царевны... А сын хуеет да изводится от тоски на ее глазах, и шемит и болит материнское сердце.

Всех веселее в эту поездку была царевна: уж как рада она была вырваться из своей неволи; глаз не спускает она с поля; весело ей, и дышится так хорошо, вольно, чувствует она себя еще добрее, глядит на всех так ласково. Поймал не один из таких взглядов и Салтыков, и обрадовался он, и расцвел; глаза заблестели, повеселел он, грезится ему что-то хорошее в будущем, думает, что недаром взглянула так на него Марьюшка, – знать, и он люб ей; и не ошибался в этом: хоть и не хотела царевна сознаться себе, но люб был ей боярин – куда милее жениха... Она не могла, не в состоянии была дать отчет в этом чувстве. А у Салтыкова сердце бьется чаще, усиленнее, ни на шаг не отъезжает он от царевниного рыдвана.

Из-за верхушек леса мелькнули и засияли в воздухе золотые купола лаврских церквей. Салтыков нагнулся к открытому окну рыдвана.

– Троица видна, царевна! – сказал он дрогнувшим голосом; это были первые его слова, обращенные к ней дорогой.

– Где, где Троица? – спрашивает царевна, хватаясь руками за окно рыдвана.

– А вон! За верхушками главы блестят! – указывает Салтыков.

Царевна высунулась из окна; Салтыков хотел поддержать ее и схватил за руку, немного выше локтя. Дрожь пробежала у него по телу от этого прикосновения, он покраснел, рука слегка задрожала, он слегка пожал руку царевны; та почувствовала это и мельком, так ласково, нежно взглянула на него, а сама покраснела, даже шея вспыхнула. Салтыков потерял голову, он сильнее сжал руку. Царевна вздрогнула, она повела на него глазами, и сколько ласки было в этом взгляде!..

– Больно, боярин! – шепнула она.

Но Салтыков не помнил себя, не сознавал, что делал, не сознавал того, чему подвергался, если бы чей-нибудь посторонний глаз подметил, как он жал руку, если бы чье-нибудь ухо подслушало шепот царевны. Он впился глазами в нее, он видел, как она вспыхнула, как взглянула, как теперь смотрит. Глядит он на нее – не наглядится; на лице у него показалась такая добрая, ласковая улыбка. Царевна повела плечом.

– Больно, боярин, право же, больно, – снова шепчет она, тихонько стараясь освободить свою руку, а сама глаз не спускает с него.

Салтыков выпустил руку, взглянул на нее последний раз. Царевна словно не сердится, глаза такие добрые, ласковые, она нагнула голову, будто поклонилась, и села в рыдван; боярин пришпорил коня и вихрем умчался вперед.

Царевна не помнила себя, сердце у нее забилося так сильно, словно из груди выскочить хотело, дышать ей было тяжело, трудно, но на душе было так хорошо, весело.

«Господи! Да что ж это делается со мной, что случилось только?.. Как это я не выругала его за охальство; разве он смеет так обходиться со мною?.. Впрочем, ведь не хотел же он меня обидеть... знать, полюбила я ему, недаром гоняется да глаз с меня не спускает, а уж на душе-то как хорошо у меня, никогда еще со мной этого не бывало, – думала царевна. – Только грех-то, грех какой, не отмолить его, что я теперь батюшке на духу скажу? Господи, что я только наделала! Экой проклятый подвернулся, просто дьявол искушает!»

При последних мыслях царевна побледнела; Желябужская, наблюдавшая за ней, испугалась.

– Что это с тобой, матушка, творится, – заметила она, – то огнем пынешь, то блее стены делаешься?

– Не знаю, бабушка, – отвечала, снова покраснев, царевна, – как сказал боярин, что Троица видна, так у меня сердце забилося, что и теперь не вздохну.

– Дело доброе. Это от радости; и святой угодник, видя твое усердие, будет к тебе милостив, – поясняла Желябужская.

Царевна была тем более рада подобному объяснению, что ее оставляли в покое, не лезли к ней с расспросами; она нагнулась к окну и осмотрелась по сторонам. Салтыкова не было видно.

«Где же он, проклятый, куда пропал?» – думалось царевне.

А «проклятый» был далеко, не помня себя, скакал он; мысли, одна другой светлее, радостнее, целою вереницею проносились у него в голове; он никогда не испытывал такого счастья, как нынче.

«Как посмотрела-то она! Боже мой, чего бы не отдал я, только бы моей была, хоть день один... хоть час! – бредил, скача во всю мочь, Салтыков. – Ничего не поделаешь, ну да и то милость Божия, значит, не противен я ей – не противен, коли так смотрит».

Опомнился он только у ворот лавры. Там стояло уже в ожидании царя духовенство с хоругвями и крестами. Салтыков соскочил с лошади, вскоре показался и царский поезд. Он подскочил к рыдвану царевны, хотел помочь ей выйти, но, встретив сердитый, холодный взгляд ее, смутился и отошел.

«Что ж это такое? – мучился боярин. – То ласкова, то сердита, не поймешь ее».

Но, пройдя несколько шагов, царевна оглянулась, ища его глазами; он заметил это и снова ожил.

Целую неделю прожил царский двор в лавре; царь и царевна говели; не один раз царевна во время службы глядела на окаянного, смутившего ее покой боярина и подолгу не спускала с него глаз; далеко уносилась она в это время от молитвы; мысли ее были заняты другим, более мирским делом, где первое место принадлежало Салтыкову. Невольно сравнивала она его с царем, и преимущество оставалось за боярином; напрасно она старалась молиться, усердно клала земные поклоны; грешные, по ее мнению, мысли не покидали ее; она страдала, мучилась

и вместе с тем жила такую полною жизнью, какою никогда не жилось ей прежде; и, странно, несмотря на страдания, она ни за что не хотела бы расстаться с этой жизнью.

Пришло время исповедоваться. Царевна с трепетом, дрожа всем телом, приблизилась к духовнику, рассказала ему все свои детские грехи, все свои помышления, только не заикнулась ни словом об искушении, постигшем ее дорогой, и тех мыслях, которые явились влестствие этого искушения; новое чувство, которое она теперь начала сознавать, она запрятала глубоко-глубоко; затаила его от всех и готова, кажется, была скрыть его даже от самой себя.

## Глава X

Поездка в лавру не осталась без важных последствий для многих из участвовавших в ней. Во время поездки Борис Салтыков окончательно убедился в том, что был прав, когда говорил брату о неизбежном возвышении рода Хлоповых. Во время этого путешествия ближе всех к царю находились родичи царевны; царь оказывал им внимание, был ласков, так же ласков, как прежде бывал с Салтыковыми; выслушивал их внимательно. Было заметно, что он начинает попадать под влияние, казалось, недалеко то время, когда молодой, неопытный царь будет орудием в руках стремительно поднявшихся Хлоповых, будет смотреть их глазами и творить то, что им вздумается.

Понятно, что при таком положении дела Салтыковы волей-неволей должны были отступить на второй план, отодвинуться, стусеваться; положим, что по праву близкого родства с царем они не потеряют окончательно влияния при царском дворе, не потеряют своих почетных мест. Но уже разделение этого влияния и силы с какими-то худородными, бедными дворянами Хлоповыми было зазорно для Салтыковых; им нужно было все забрать в руки, всецело, безраздельно пользоваться властью. Давно уже Борис, с самого дня избрания Марьюшки в царские невесты, не понимая ослепления и какой-то странной бездеятельности брата, начал незаметно вооружать мать против Хлоповых, вести при ее помощи подпольную интригу против родни царевны. Давно уже великая старица благодаря этой интриге морщится при одном имени Хлоповых, косится на свою будущую родню, да и самую царевну еле терпит. Если бы не обычай – этот неумолимый закон в тогдашней Руси – она готова бы была не пускать царевну к себе на глаза. Не будь Марьюшка нареченной царевной, не поминай ее на ектении как царевну, она не поцеремонилась бы, она употребила бы все свое влияние, всю свою власть над сыном, чтобы расстроить этот брак, но при настоящем положении дела сделать это было нелегко; сведение царевны с верха грозило серьезным, громадным скандалом; приходилось, скрепя сердце, молчать и терпеть, ожидая какого-нибудь уважительного обстоятельства, чтобы можно было сразу, неожиданно произвести погром. Это-то невольное молчание, вынужденное бессилие волновало и бесило великую старицу. Борис все это видел и всеми силами старался раздувать это пламя, оставаясь в то же время в стороне, незамеченным.

А Михайло, под живым впечатлением пахнувшего на него счастья, вполне отдался своим радужным мечтам; он на все махнул рукой, готов был сделаться сторонником Хлоповых, вступить в борьбу с братом, со всем влиятельным и сильным боярством, только бы оставили в покое его царевну, только бы можно было, хоть урывками, глядеть ему в ее ласковые очи, прикасаться к ней, молиться на нее, чтобы в ответ на эти молитвы услышать хоть одно ласковое, любовное слово, поймать нежный взгляд, не встретить холодного, недовольного, сердитого лица.

Теперь уже картина ее ласк царю не мучила его так, как в первое время.

«Что ж, пусть ласкает, – думал он, – ласки-то эти ведь подневольные, не поглядит она на него так, как на меня взглянула, не прошепчет ему так ласково, как шепнула мне дорогой, – пусть его тешится... Увидать бы только мне ее теперь одну-одинешеньку, с глазу на глаз, когда не глядят за нею, поговорить бы с нею по душе... Знаю, уверен почти, что любит она меня, только бы от нее услышать хоть одно слово о том, авось и на мою долю выпадут ее ласки, что ж, разве не было примеров?.. А уж коли выпадут, так не такие, какие достанутся немилому мужу, а другие, жаркие, горячие... один бы только раз, а там будь что будет, хоть голову пусть снимут с плеч, буду знать, за что сняли, упьюсь уж зато счастьем-то».

Мысль о свидании с царевной с глазу на глаз крепко засела в его голову, долго обдумывал он, как бы устроить это, как бы повидать свою любовь, услышать от нее решительное слово, люб ли он ей?

Насколько Салтыков был счастлив после путешествия на богомолье, настолько несчастна была царевна. Она с ужасом заметила, как сильно развилось, несмотря на все ее старания заглушить в самом корне, это чувство; она ясно теперь сознавала, как мил, как дорог ей боярин. При одном воспоминании о нем ее бросало в краску, сердце усиленнее билось, на глазах блестели слезы, а на сердце так хорошо делалось, весело. Но чистая натура ее возмущалась против этого чувства, она сознавала, что нарушает долг, что не права она перед царем. Царевна твердо решила, если не забыть боярина, то, по крайней мере, ни взглядом, ни словом не выдать того, что творилось с ней; авось отстанет, а там как-нибудь обойдется все. При необходимых встречах с Салтыковым она избегала его взгляда, старалась развлечься чем бы то ни было, только бы не думать о нем.

Царевна рассыпала ласки царю, когда он навещал ее, а тот не наглядится на свою невесту, не наслушается ее голоса, с таким нетерпением ждет он свадьбы, а свадьба все отодвигается да отодвигается; то одно не готово, то другое, а там послы явились шведские, мир заключили с ними, нужно было праздновать этот мир, начался целый ряд торжеств, празднеств.

Был вечер, тихий такой, весенний; в растворенные окна царских теремов волнами вривался свежий, здоровый воздух. Царевна сидела в кресле одна, боярыни оставили ее; ярко горели вдали главы Симонова монастыря, царевна загляделась на них и задумалась.

В покое послышался шорох, царевна вздрогнула и обернулась, показалась фигура мужчины, она вскочила на ноги, перед ней стоял Салтыков. Царевна схватилась рукою за грудь, она испугалась, сердце замерло, в груди словно оборвалось что.

– Ты... боярин... здесь?.. Зачем? – еле могла выговорить царевна.

Она тряслась всем телом, не сознавая ясно, что угрожало ей, чем именно был опасен для нее приход боярина; она замерла от страха.

– Зачем?.. Что тебе нужно, боярин?.. Уйди... скорей уйди отсюда! – лепетала она, не помня себя.

– Царевна! – заговорил Салтыков, голос его дрогнул, он быстро менялся в лице. – Царевна, прости, что испугал тебя... я давно искал случая повидать тебя одну, – продолжал он, – поговорить с тобой...

– О чем нам говорить с тобой, боярин? Уйди, увидят тебя здесь, нехорошо, право, нехорошо, уйди! – взмолилась она.

– А может, царевна, и есть о чем, почему знать? – проговорил боярин. – Ты не бойся, я давно искал случая, сюда никто не придет, я постарался об этом, нам не помешают... – торопливо продолжал Салтыков, подходя к царевне.

«Что мне делать, что делать-то? – шептала про себя царевна. – Зачем он пришел, что задумал, что ему нужно от меня?»

Ноги у нее подкашивались она не могла стоять и тихо словно подкошенная, свалилась в кресло. Салтыков стал решительнее, он подошел к царевне и остановился у кресла. Она с испугом глядела на него.

– Не впервой, царевна, ты видишь меня здесь, во дворце, – заговорил Салтыков, – помнишь деревню? Часто я видал тебя в саду, ты была тогда маленькой девочкой... потом три года я не видал тебя, а из головы, из памяти, ты не выходила у меня... потом я встретил тебя в Москве... в церкви... в монастыре и... – Он замолчал.

– Помню, боярин, все помню, – упавшим голосом отвечала царевна, – только зачем ты вспоминаешь про все это, то все прошло... уйди, уйди, боярин, – вдруг взмолилась она, – зачем ты пришел?..

– Неужто ж, царевна, ты не догадалась, не поняла, – снова дрожащим голосом проговорил Салтыков, – не поняла, зачем я искал тебя всегда, отчего я не спускал с тебя глаз; неужто ж ты не поняла, что полюбилась ты мне, что без тебя жить не могу я... Вырвали тебя, царевна, у меня, – продолжал он, схватив ее за руку.

У царевны дрожь пробежала по телу от его прикосновения, ее бросило в жар, но руки она не отняла, не в состоянии, не в силах была отнять.

– Вырвали тебя у меня, – продолжал боярин упавшим голосом, – против этого ничего не поделаешь, не отнять тебя у царя... ну, да и им не вырвать у меня из души, из сердца тебя... теперь дороже ты мне еще стала, царевна... ты приказала уйти, – не могу... не в силах я... я и пришел сказать тебе это... душу тебе открыть... любя ты мне... так любя, что голову на плаху положу за тебя... мне ничего не нужно, царевна... будь ты царицей... скажи только, что я люб тебе... мне нужна только твоя ласка... твой взгляд добрый, ласковый... такой... помнишь дорогой... под Троицей... скажи, царевна! – взмолился боярин. – Одно только слово и скажи... что же молчишь, Марьюшка? Любимая, дорогая! – шептал он, наклоняясь к ней.

Царевна, слушая его речи, не могла прийти в себя; и жутко ей было, и страшно, и хорошо в то же время; голова кружилась, в глазах было темно, она не знала, где она, что делается с ней, она была в забытии, близка к обмороку. Салтыков нагнулся еще ниже; не выпуская ее руки, он шептал все тише и тише; шепот этот опьянял царевну. Салтыков обнял ее, прижал к себе, голова царевны бессильно упала к нему на грудь, что-то горячее, жгучее коснулось губ царевны. Обожгло их, она вся затрепетала, слезы брызнули из глаз, она бессознательно прижалась сама еще крепче к боярину, а горячие поцелуи осыпали ее губы, щеки, глаза, волосы...

«Что он со мной делает? Боже мой, боже мой! Что нужно ему от меня? Ведь я царевна, невеста. Полюбовницей своей хочет сделать... целует, обнимает. Что я царю теперь скажу?»

При этих мыслях краска стыда покрыла ее лицо. Опьянение от горячих боярских ласк прошло, заговорило негодование, оскорбление – как смел боярин так оскорбить ее, невесту царскую, когда он по отношению к царю, а следовательно, и к ней не более как раб, холоп; и этот холоп обнимает ее, целует, называет своей любой, какая она ему любя!.. Полюбовницей хочет ее сделать, оскорбить царя, такого доброго, ласкового... Любит он ее? Так что ж прежде-то глядел, чего ждал? Ждал, чтоб она стала чужой женой, да еще чьей! Не высоко ли забрал он? Что ж, и она его любит, да умела же скрывать, только сегодня он своими ласками да лукавыми речами заставил высказать ее свою слабость. Досада, злость на себя, раскаяние в своей слабости охватили царевну, она собрала все силы и, оттолкнув Салтыкова, вскочила на ноги; в это время еще краше, еще лучше была она.

– Прочь!.. Как ты смеешь?! – задыхаясь, проговорила царевна.

– Царевна!.. Марьюшка... Господь с тобой... опомнись!.. – пробормотал ошеломленный Салтыков, не понимая такой резкой, быстро происшедшей перемены в царевне.

– Опомнись ты, боярин! Ты вспомни, куда пришел? – отчетливо, грозно произнесла царевна. – Ты, знать, забыл, что находишься в царском дворце; куда забрался ты предлагать свои холопские ласки да любовь?

Салтыков еле устоял на ногах.

– Что ж это, сначала на грудь припала, плакала, а потом оскорбления! Холопские?! – переспросил Салтыков, глаза его блеснули огнем.

– Какие же еще... не царский ли ты холоп?!

– Царевна! Люблю я тебя, но обиды не прощу и отцу родному, – медленно проговорил боярин.

– Обиды? Ты ополоумел, знать, боярин? Не ты ли обидел царя? Скажешь, не вольна я, царевна, называть тебя холопом?

– Но не царица еще, помни, не захочу я, и не будешь ею!

Царевна принужденно засмеялась:

– Смешон ты, боярин, со своими угрозами! Уходи вон отсюда; сам знаешь, несладко тебе будет, коли позову кого... уходи же подобру-поздорову.

Этот смех, это указывание на дверь совсем ошеломили Салтыкова; смех этот возмутил его, потряс, оскорбил до глубины души.

«Что ж это, издевка надо мной?» – думал он.

– Опомнись, царевна, образумься, что ты делаешь? – попытался он снова заговорить, надеясь уладить как-нибудь дело. – Ты сама знаешь, не царь я, но сильнее царя! Никто, никогда, царевна, не оскорблял меня так, как оскорбила ты нынче... я прощу... я забуду... все забуду... ты не поняла меня... не любовницей нужна мне ты... ласка, ласка только твоя, Марьюшка.

Угрозы Салтыкова окончательно вывели из себя царевну:

– Не Марьюшка я тебе! Я царевна Настасья Ивановна! Я приказываю тебе сейчас же выйти вон!

– Вот что?! Царевна! – со злобой на лице проговорил Салтыков. – Царевна! Так помни же, царевна, что этот холоп, – продолжал он, ударив себя в грудь кулаком, – этот холоп сорвет с тебя царский венчик... раздавит его... сведет тебя с верха... Теперь холоп этот заговорит с тобой иначе... не молить он тебя будет, а требовать... Выбери теперь: или будешь моей, или – ссылка! – произнес Салтыков вне себя, не отдавая отчета в своих словах.

Негодование охватило царевну, у нее не осталось кровинки в лице; она медленно подняла руку, указывая ею на дверь.

– Вон, холоп, иначе я подниму тревогу, сзову боярынь, расскажу о тебе царю!.. – проговорила царевна. Глаза ее горели; она становилась все бледней и бледней.

Салтыков низко поклонился.

– Прости, царевна! – прошептал он, улыбаясь. – Скоро свидимся, да уж попомни, кстати, когда будешь рассказывать царю про мою холопскую дерзость... расскажи уж заодно, как этот холоп обнимал и целовал тебя и как к холопу прижималась и припадала на грудь царевна.

Он еще раз поклонился и вышел.

Нелегко было уходить ему от царевны, от того свидания, которого он так жаждал, которого добился с таким трудом; он мог ожидать холодного ответа, отказа, но оскорбления, презрения не ожидал он, не думал, чтобы его любя, его царевна указала ему на дверь. Он вышел, шатаясь. Слово «холоп», услышанное им от царевны, вызвало в нем злобу, он не мог сказать, что чувствовал в эти минуты к царевне; жажда мести охватила его. Он никак не мог примирить прошлое поведение царевны с тем поступком, который она сделала нынче. Ему хотелось отомстить ей как можно больнее, чтобы она почувствовала те же муки, какие переносит он. Нужно бороться – отказаться от этой борьбы, если бы он даже и желал, было невозможно: он хорошо сознавал всю опасность, какая угрожала ему, если царевне вздумается рассказать царю о нынешнем вечере. Царевна ушла от него, ее не воротишь, терять голову было бы безрассудно. Напротив, потеряв в жизни все, нужно было спасти хоть жизнь, а спасти эту жизнь можно было только гибелью царевны, гибелью быстрой, спасая себя, нечего было жалеть ее.

Марьюшке было не легче, она хорошо сознавала, какое глубокое оскорбление наносила она любимому человеку; она сознавала, что не могла поступить иначе, что должна была поступить так, и это исполнение долга давило, мучило ее; кроме того, угрозы Салтыкова возмущали, приводили ее в негодование.

– А все-таки люб он мне, люблю его, постылого, люблю! – зарыдала царевна, падая в кресло.

## Глава XI

«Спешить надо, – думал, идя дорогой, Салтыков, – спешить приниматься за дело, проболтается царевна в сердцах – все пропало... нужно спастись... Ну и царевна! Салтыков – холоп!.. Погоди, царевна, попросишь и у холопа пощады и милости, да будет поздно!»

Он направлялся к Вознесенскому монастырю, к матери. Тихо вошел он в келью, поздоровался с матерью, с братом, который сидел здесь же. Евникия взглянула на сына.

– Что это, али неможется тебе? – спросила она его, увидев бледное, расстроенное лицо сына.

– Неможется, матушка.

– Может, так же, как и Борису?

– А что Борис? – спросил он, взглядывая на брата.

Борис сидел потупившись, он был бледнее брата, рука его, лежавшая на столе, нервно барабанила пальцами.

– Что такое, Борис, скажи? – снова повторил свой вопрос Михайло.

– Новая родня царская коготки начинает показывать, – отвечала за сына Евникия.

– Как так?

– Вот он тебе расскажет.

Михайло смотрел на брата, тот молчал.

– Расскажи, Борис, что случилось, – спрашивал его Михайло.

– А то, – дрогнувшим голосом заговорил Борис, – то, что всякая мошка, голытьба начинает позорить, оскорблять нас.

– Да, оскорбляют! – неопределенно заметил Михайло.

– Какой-нибудь Хлопов чуть не холопами нас считает.

– Говорят – холопы! – подтвердил опять Михайло.

– Ты как хочешь там, – продолжал Борис, – а я молчать да смотреть на то, как они начинают власть забирать да помыкать нами, боярами, не стану; или они пусть властвуют, или мы, а уж не попусти насмехаться над нами! – решительно, твердо произнес Борис.

– Да в чем дело-то?

– Ты знаешь оружейную! Уж на что мастера есть, сам гляжу, как работают, сам во все вхожу, добиваюсь и добыюсь, что наши клинки не будут уступать турецким, ну да что толковать об этом, чай, сам знаешь...

Михайло утвердительно кивнул головой.

– Сегодня царю вздумалось похвалиться своим оружием перед Хлоповым, не Иваном, а тем... Глебом; повел его в свою оружейную, и я здесь же. Взял царь турецкую саблю, полюбовался ею, погнул – гнется, как змея.

«А что, – говорит потом Хлопову, – у нас сделают такую аль нет?»

Взял тот саблю в руку и ухмыляется, да так ехидно, словно гадина какая, так во мне все и закипело.

«Что ж, отчего не сделать – сделают, – говорит, – только такова ли будет?»

А сам все ухмыляется, ну тут уж я не выдержал. Скажи он это без усмешки, может, я и смолчал бы, а тут не мог, вырвал я саблю у него из рук... обозвал неучем... вижу, наступает: я ему слово, а он мне десять, да так хамское отродье и лезет, так на горло и наступает, таких речей от него наслушался, что отродья не слыхивал, да вряд ли и услышу...

– Что же царь-то?

– Что царь! – с усмешкой проговорил Борис. – Царь молчит да слушает, как меня поносят, нет того, чтобы остановить нахала, глотку ему заткнуть, – продолжал он с гневом, – нет! Пусть, мол, попорочит его, пусть посмеется... ему, знать, любо...

– Неладно! – промолвил Михайло.

– Чего же тут ладного! Опять говорю, как знаешь, Михайло, так и делай, а я примусь за дело, а то лучше и не жить.

– Примусь да примусь, заладил одно, нужно приниматься умеючи, толково.

– Сумеем, небось у тебя ума-разума занимать не станем, совета не попросим.

– Напрасно, иной раз и я не был бы лишним.

– Хотите приниматься за дело, – вмешалась в разговор молчавшая до сих пор Евникия, – а ссору меж собой затеваете, какой же прок выйдет? Михайло правду сказал, что за дело нужно приниматься умеючи; кто бы там ни были Хлоповы, а побороть их не так легко, как ты думаешь, Борис, у них крепкая есть стена – царевна... того и гляди, свадьба будет, тогда уж ничего не поделаешь... Нужно торопиться, теперь, может быть, успеем еще что-нибудь сделать, попытаемся...

– Ты что задумала, матушка? – спросил Борис.

– Что задумала, не скажу, сам догадайся. Ты как думаешь, что в дереве важнее: корень или ветви?

– Полагаю, корень.

– Ну, так если корень-то вырвать из земли, будет жить дерево или нет? Так вот я и думаю, что прежде всего за корень нужно приниматься, вырвем его – ну и ладно; тогда о ветвях-то и хлопотать нечего.

Борис оживился, он понял мысль матери, это было то, о чем он с самого начала говорил брату. Михайло сидел молча, потупившись.

– Я давно, с самого начала тоже так думал, – произнес Борис, – говорил с Михайлом об этом, да он тогда на стену полез, затвердил одно: не дам, не попусти, и конец.

Евникия взглянула на Михайлу, она понимала, почему Михайло лез на стену, знала причину, знала также и то, что причина эта существует и теперь.

– Можно без вреда, на время дурь навести, а там скоро все пройдет и следов не останется, – нерешительно, как бы спрашивая, говорила Евникия, глядя на Михайла.

Тот исподлобья вскинул глаза на мать:

– Но мне все равно, на время ли, навсегда ли, делайте как знаете.

Согласие Михайлы немало удивило как мать, так и брата.

– Постараюсь, заготовлю, – заговорила торопливо Евникия, – а там уж сами постарайтесь, только осторожнее.

Послышался шум, все притихли и напряженно смотрели на дверь. В келью поспешно вошла раскрасневшаяся Феодосия.

– Что это шумят там? – спросила Евникия.

– У великой старицы, – отвечала поспешно Феодосия. – Из дворца прибежали, она собирается к царю идти.

– Что такое, что там сделалось? – спросили все в один голос.

– С царевной что-то попричилось...

Михайло вскочил, он был бледен, глаза страшно уставились на Феодосию; ему нужно было опереться о стену, чтобы не упасть.

«Рассказала, все рассказала!» – мелькнуло у него в голове.

– Сначала плакала, говорят, – продолжала Феодосия, – на крик кричала, а потом помертвела, лежит как мертвая.

– Бредит? Говорит что-нибудь? Не слыхала ли? – не своим голосом спросил Михайло.

– Не знаю, не слыхала.

– Поди получше узнай! – обратилась к ней Евникия.

Феодосия нырнула за дверь.

– Спешить нужно, спешить! – заговорил первый Михайле, его била лихорадка.

Евникия подозрительно взглянула на него.

– Ты не знаешь, что за болезнь у царевны; может, теперь моя помощь и не нужна вам? – спросила она у него.

– Откуда же мне знать? Знаю одно: если делать что, так делать теперь, медлить нечего!

– Заходи завтра утром, я склянку приготовлю, а теперь идите, мне немало еще дела будет сегодня, – сказала Евникия, выпроваживая сыновей из кельи.

## Глава XII

Во дворце поднялась тревога, все были в хлопотах, бегали, суетились, сами не понимая, зачем они бегают, что делают; все это творилось без толку, без цели. Знали только одно, что с царевной что-то приключилось, что с ней очень нехорошо. А царевна лежала в это время в постели; на вид ей было действительно нехорошо: глаза были закрыты, в лице ни кровинки, она слегка стонала, ее окружали, перешептываясь между собою, с вытянутыми лицами, боярыни. Приключись болезнь с царевной при них, куда бы ни шло, а вся беда заключалась в том, что их не было при царевне. Пойдут теперь спросы да расспросы – как было да что, с чего приключилось? Что они скажут, когда и сами не знают. Пришли они к царевне, а она мечется в кресле да на крик кричит; начали ее водой взбрызгивать, расспрашивать, а она все кричит, не говорит ни слова, а слезы ручьями бегут. Раздели ее, положили в постель, донесли царю о беде; тот совсем голову потерял.

Сидел Михайло Феодорович у себя в покое и не думал о беде, прибежал к нему придворный, лица на нем нет.

– Что тебе? – спрашивает царь.

– Государь, беда стряслась!

Словно ножом полоснул он его по сердцу; побледнел царь, всполошился, вскочил.

– Какая беда? Говори скорей!

– Царевне нехорошо, захворала, без памяти лежит.

Царь даже за голову схватился, лучше бы он сам захворал, чем его Настюша. Могла быть самая пустая болезнь, но он хорошо знал, что навряд ли она останется без последствий.

– Давно ли? Давно ли с ней приключилось это? – не своим голосом спросил царь.

– Да больше часу времени будет!

– Что ж вы молчали-то? Отчего сейчас же не сказали мне? – Гневные ноты послышались в голосе царя, что было с ним чуть ли не в первый раз в жизни. – Беги скорей, отыщи Салтыкова Михаила, да живо!

– Его нет во дворце, – заметил придворный.

– Найди, из-под земли вытащи.

Придворный повернулся.

– погоди, постой, – торопливо остановил его царь, – пошли сейчас же к матушке в монастырь, скажи, что я прошу ее прийти сюда: царевне, мол, очень неможется, да скорей, слышишь!

Придворный скрылся. Царь заходил по комнате; если бы из чистого, голубого неба грянул гром, он не ошеломил бы его так, как весть о болезни царевны. За все время, какое прожила она наверху, царь привязался к ней всей своей юношеской чистой душой; он полюбил царевну, свою Настюшу. Это была его первая любовь; глубоко пустила она корни, вырвать эту любовь из сердца царю было невозможно, или потребовалось бы на это много лет. Видеть царевну, говорить с нею сделалось для него необходимостью. Как бы хотелось ему теперь пойти к ней, поглядеть на нее, самому ухаживать за ней; там теперь боярыни, чужие люди, могут ли они угодить ей так, как он? Прогнал бы их всех, сам бы все делал, но обычай не позволял ему и шагу теперь сделать к ней – она больна и лежит в постели. Будь она не невестой, а женой – другое бы дело, а теперь не то. И злоба брала его на все обстоятельства, тормозившие его свадьбу.

На пороге показался Салтыков, он был страшен. Посланный нашел его на дороге из монастыря вместе с братом; при вести о том, что его требует царь к себе, он вздрогнул.

«Предупредила царевна, рассказала... он все знает!» – подумал он и вслед за посланным отправился во дворец.

– А! Ты, Михайло? Спасибо, что поторопился, – заговорил обрадованный его приходом царь.

Салтыков, не понимая такой встречи, с удивлением взглянул на царя.

– Беда приключилась, Михайло, царевна занемогла, – продолжал царь. – Возьми дохтура, пусть посмотрит, спроси, что с ней подеялось, да приходи ко мне, расскажи все... поторопись только, голубчик!

Салтыков вздохнул свободнее, словно гора с плеч свалилась у него.

«Ничего не знает, не ведает, не проболталась, значит, да и дело становится по-нашему: сама в руки дается, теперь только спешить нужно, а то, пожалуй, все откроется, тогда не выигрешь, а проиграешь», – раздумывал боярин.

Выйдя, он немедленно послал за доктором; тот осмотрел царевну и возвратился к Салтыкову.

– Ну что? Как нашел ее? – нетерпеливо спросил Салтыков.

– Ничего, боярин, пустяки, расстроилась чем-нибудь царевна, завтра же здорова будет.

– Не может быть, не так она захворала.

– Мне, боярин, лучше знать.

– Что же, дашь какое-нибудь лекарство? – поинтересовался довольный Салтыков.

– Пожалуй, дам, только она и без лекарства здорова будет – простая болезнь.

Выслушав доктора, Салтыков отправился к царю; тот с нетерпением ожидал его.

– Ну что, видел дохтур ее? – обеспокоенно произнес царь.

– Видел! – отвечал Салтыков.

– Что же он сказал? Как Настю нашел?

– Говорит: нехорошо... Что завтра будет, может, полегчает, а пока очень нехорошо.

Царь опечалился; в комнату вошла великая старица; царь бросился к ней навстречу.

– Что у тебя здесь? Что приключилось? – сухо спросила монахиня.

Царь в коротких словах рассказал все дело, прося мать навестить его невесту, посмотреть, что делается с ней.

– Пойду погляжу, – отвечала великая старица, выходя из комнаты. За ней следом вышел и Салтыков.

Речи Салтыкова совершенно обескуражили царя; слово «нехорошо» звучало у него в ушах похоронным колоколом; он давно уже заметил нерасположение матери к царевне, он заметил в ней также желание под каким бы то ни было предлогом оттянуть свадьбу, а тут эта болезнь еще подвернулась, кабы легкая, а то вон дохтур сказал «нехорошо». Теперь вдесятеро наскажут, раздуют... неужели ж придется расстаться с ней? При этой мысли молодой царь похолодел даже весь. Расстаться? Никогда ни за что в жизни он не расстался бы с ней, да заставят сделать это: мать строгая, капризная, настойчивая женщина, настоит на своем. И что за судьба его! Царем сделали почти насильно, заставили молодого юношу управляться с делами государства, да такого государства, что впору им править опытному старику; государства разграбленного, разоренного, разорванного на куски, покрытого вместо городов и сел одним пепелищем, наполненного врагами да разбойниками, казацкою вольницей. Еле вздохнулось немного юноше, попытал он счастья, нашел себе любовь, души в ней не чает, да хворость эта подвернулась, а что из этой хворости сделают добрые люди, бог весть... Знать, всю жизнь придется маяться да жить, как люди прикажут, а не своим умом-разумом. Горько, тяжело стало царю от этих дум.

Великая старица медленно, важно вошла в опочивальню царевны; царевна, как и прежде, лежала с закрытыми глазами, тяжело дыша, окруженная боярынями, которые при входе монахини почтительно расступились и очистили дорогу к царевне.

Марфа подошла к больной, взглянула на нее; нехорош был этот взгляд, холодность, суровость были видны в нем.

– Что с ней подеялось? – спросила она таким тоном, каким обыкновенно спрашивают, отчего сломался стол или стул.

Боярыни наперебой поспешили рассказать, что приключилось с царевною.

– Да говорите кто-нибудь одна, что как сороки затрещали! – сердито прервала их Марфа.

Рассказ продолжала Мишакова. Выслушав ее, старица несколько минут молча смотрела на царевну.

– Падучая! – произнесла она наконец безапелляционным тоном.

Желябужская не стерпела, не могла она не вступить за свою внучку.

– Откуда взялась падучей: это с ней впервой в жизни! – вмешалась она.

Марфа строго смерила ее с ног до головы.

– Ты, кажется, бабкой ей доводишься? – спросила она.

– Да, это моя внучка.

– Известно, чтоб в почет попасть, не то что падучую, а и похуже что выдадут за здоровую, – сухо произнесла монахиня, поворачиваясь спиной.

Царевна при звуке этого металлического, безжизненного голоса очнулась, открыла глаза и медленно обвела глазами комнату и присутствующих.

Желябужская бросилась к ней.

– Ну что, Марьюшка... что, царевна, – поправилась она, – как тебе можется?

– Ничего, бабушка, я здорова... так, я сама не знаю, что приключилось со мною.

Старица, услышав слова царевны, не оглянувшись и так же важно вышла из опочивальни, как и вошла в нее.

– Не жена она тебе! – сказала она, входя к царю.

Царь, зная нерасположение матери к царевне, ожидал подобных речей, но, несмотря на это, при словах матери он невольно вздрогнул.

– Не жена она тебе: у нее падучая... хороша будет царица, – продолжала монахиня.

– Матушка, дохтур ничего не говорил про падучую, – робко заметил царь.

– А ты кому больше веришь: немцу-нехристю или мне?

– Матушка...

– То-то матушка! Зла я тебе, что ли, желаю? Сам не знаешь, что говоришь, на последнюю девку мать готов променять.

И, без того расстроенный, царь окончательно растерялся: он не спал всю ночь, дохтур сказал, завтра... что-то будет завтра?

А на другой день царевна встала совершенно здоровой, бледна была только немного да чувствовалась маленькая слабость. Пришел дядя Глеб, в руках у него была склянка, переданная ему Салтыковым, с приказом давать царевне из этой склянки водки по рюмке каждый день.

– Выпей, царевна! – предложил ей дядя.

– Дядюшка, да я совсем здорова, – отказывалась царевна.

– Выпей, царевна, лучше будет, лекарь велел, – убеждал ее дядя.

Царевна, желая успокоить дядю, выпила, но не прошло и получаса, как занемогла пуще прежнего, начались колики в животе, тошнота, рвота; слегла совсем царевна в постель.

Успокоенный было дворец снова взволновался, снова стал на ноги, принялись за доктора, тот только плечами пожимает, не понимая, что творится с царевной. А Салтыков между тем пристает к нему.

– Как полагаешь, будет она у нас царицей или нет? – допрашивал он.

– На это воля царская: захочет жениться на ней, тогда будет, – отвечал осторожный немец, – а нет, так не будет, только болезнь у нее неопасная.

А Салтыков идет к царю и доносит совсем не то.

– Болезнь куда опасная, – докладывает он, – в Калуге одна женщина от такой болезни померла.

Царь совсем потерял голову. Между тем царевна бросила пить принесенное ей дядей лекарство; начали поить ее богоявленной водой – ей и полегчало. А Салтыков с великой старицей вместе то и дело твердят, что царевна неизлечима, что она не годится в жены. Понимает царь, что идет все это из Вознесенского монастыря, сопротивляется он, насколько позволяют силы.

– Возьми себе другую в жены, – твердит мать.

– Не могу, матушка, – отвечал на этот раз твердо царь, – я обручен с ней, она перед Богом моя жена, ее поминают в церквах царевной; не могу я этого уничтожить.

– Так созови Думу, – настаивает монахиня на своем, – пусть она решит дело.

Весть о немощи царевны проникла и в народ; только и толку что о ней. Сколько ни бился царь, сколько ни сопротивлялся, а должен был уступить и отдать вопрос о своем счастье на решение Думы.

## Глава XIII

В старых каменных палатах Боярской думы собрались обсуждать очень серьезный вопрос: «Прочна ли к царской радости царевна или непрочна?» Собрались решать этот вопрос бояре преимущественно старые; многие из них помнили Грозного, другие думали о государственных делах при Борисе, были и такие, которые прислуживали Тушинскому вору, а потом перекинулись в Москву; тех же, которым в новизну приходилось заседать в Думе, было сравнительно немного.

Все уже собрались, но за решение вопроса не принимались, ждали прибытия царя, но царь не являлся. Был здесь и Глеб Хлопов, суетился он немало. Там послушает, что говорят, послушает в другом месте, хочется ему заранее узнать, что думают, говорят бояре, но мало утешительного узнал он. Нашел он, правда, несколько человек, не поддавшихся влиянию Салтыковых и великой старицы, относившихся с сочувствием и сожалением к царевне, понимавших, что не серьезная, как уверяли, болезнь у царской невесты собрала их здесь, а интриги да козни Салтыковых, но таких было очень мало – горсточка сравнительно с противниками царевны. Пытался Хлопов заговаривать с некоторыми, но те двусмысленно улыбались и поскорее отворачивались и уходили, боясь навлечь на себя гнев и попасть в опалу временщиков.

– А почет, знать, по сердцу пришелся Хлоповым, вишь, как увивается да хлопочет за племянницу, – замечали некоторые из бояр.

– Недолго почетом-то пользовались, скоро придется проститься с ним, – слышался ответ на такие замечания.

Время шло, а царь все не являлся. Некоторые из бояр угрюмо посматривали по сторонам, другие сговаривались, третьи рассуждали между собою, покачивая седыми головами. А царь все это время сидел у себя в покое. Невеселы были его мысли, знал он наперед, чем кончится это думское обсуждение, был заранее убежден в известном решении. Тяжело ему было отдавать на решение совершенно чужих ему людей вопрос, касавшийся лично его, затрагивавший его личное, собственное счастье.

Он не мог представить себе, как он расстанется с царевной. И из-за чего? Из-за каприза старухи, выжившей из ума, погребенной за монастырскими стенами, из-за того, что какой-то немец-нехристь наговорил про опасность, между тем как он сам лично, не далее как третьего дня, видел ее, говорил с ней, глядела она него еще ласковее, чем прежде, голос ее казался еще нежнее. И тоска, словно змея, сильнее и сильнее впивалась в царское сердце.

Пришли доложить ему, что его ожидают в Думе, царь не расслышал.

– Что? – переспросил он.

– В Думе ожидают тебя, государь.

– Не пойду я, пусть сами толкуют, а я не пойду! – раздраженным голосом произнес царь.

– Государя не будет! – пронеслось в Думе.

Многие вздохнули свободнее.

– Что ж, пора приниматься за дело, – послышались слова.

Стали усаживаться на места по старшинству.

Рассказывал историю болезни Борис Салтыков; Михайло старался держаться в стороне. Оскорбление, нанесенное ему царевной, мало-помалу улеглось, сгладилось, а любовь не умирала в нем, она только затаилась, притихла на время и теперь вспыхнула пуще прежнего. Нелегко ему было слушать эту хитросплетенную историю, рассказываемую братом; он знал, что все его слова, от первого до последнего, – бессовестная ложь. Была минута, когда он готов был вскочить и закричать во всеуслышание, что брат его лжет, говорит неправду... Но каша была заварена, и притом заварена с его собственного согласия, он сам собственной рукою передал отраву, полученную от матери, от этого и приключилась болезнь царевны; он главный

виновник всей этой истории... отступать теперь было уже поздно. Он должен был страдать молча, добровольно отдав себя на эти страдания; но все это было еще начало, самая пытка была впереди. Борис окончил свой рассказ и сел.

– Что же сказал лекарь? – слышались голоса некоторых бояр.

– С лекарем говорил брат Михайло! – отвечал Борис.

Глаза всех обратились на него, что скажет он?

Михайло встал, потупив глаза: он должен был говорить напраслину, клевету на дорогую для него царевну; клевету, придуманную им самим для ее гибели. Он был бледен, руки и ноги дрожали у него, ему хотелось покаяться во всем, выдать себя головою, он робко, несмело взглянул на бояр – все смотрели на него с недоумением, никто не понимал его волнения, он снова быстро опустил глаза вниз.

– Что же тебе сказал лекарь, боярин? – слышался чей-то голос.

Наступила тишина, решительная минута. Нужно было сейчас же, на месте или сознаваться во лжи, в преступлении или, для собственного спасения, губить царевну. В нем происходила борьба, но чувство самосохранения взяло верх.

– Лекарь сказал... опасна... одна умерла... от этой болезни, – проговорил Михайло не своим голосом.

– Что же тут толковать, коли так; дело известное, – слышались голоса.

Напрасно Глеб Хлопов выбивался из сил, доказывая, что болезнь совсем неопасна, что она прошла уже и царевна теперь здорова совершенно, что, наконец, для правильного решения должно призвать лекаря и выслушать его лично, а не доверять сказкам, рассказываемым Салтыковыми. Все было напрасно; поднялся шум, крик, раздалась ругань; удержать было некому: царь отсутствовал. В воздухе стоял гул, наконец мало-помалу шум начал стихать, стали приходить к соглашению, и приговор был произнесен: «Царевна непрочна к царской радости».

Борис Салтыков вздрогнул, глаза его блеснули, он с торжеством взглянул на Хлопова, тот также отвечал вызывающим взглядом. Михайло понурился, он был готов бежать отсюда, укрыться куда-нибудь подальше, остаться одному, чтобы не видеть, не слышать никого.

Стали толковать о том, кто должен передать эту весть царю, но толковать, собственно, об этом было нечего, это лежало на обязанности Салтыкова.

Несмело вошел Михайло к царю, нечиста была перед ним его совесть, на душе было тяжело. Сурово взглянул на него царь. Салтыков молчал и стоял потупившись.

– Ну? – спросил царь.

– Решили... – начал Салтыков и остановился.

– Да говори же, что решили?

– Что непрочна к твоей радости...

Царь быстро отвернулся, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы: если раньше в душе теплилась крохотная надежда, то теперь все было кончено.

Михайле Салтыкову еще предстояло дело, более трудное, более тяжелое: эту весть он должен был сообщить и царевне. Нужно было уж разом рвать все – легче будет.

– Что прикажешь делать теперь, государь? – спросил он царя...

– Я-то почему знаю, – отвечал тот дрогнувшим голосом.

– Прикажешь свести ее с верха? – бледнея, проговорил Салтыков, сердце его сжалось, он едва стоял на ногах.

– Делайте, что нужно! – отвечал царь, быстро уходя из покоя и стараясь не выдать себя голосом.

От царя Салтыков отправился к царевне, он был страшнее мертвеца.

Царевна сидела с бабкой совершенно здоровая. Знала она, что Михайло приводит в исполнение свои угрозы, знала нелюбовь к себе и интриги великой старицы, знала также и то,

что нынче собралась Дума, где речь идет о ней, но была спокойна, она надеялась на царя, была уверена, что царь не даст ее в обиду, он сам третьего дня уверял ее в этом.

Но при появлении Салтыкова сердце у нее замерло, она слегка побледнела – не с доброю вестью пришел боярин; всполошилась и бабка.

– Дума решила, царевна, – заговорил Салтыков, – что ты не можешь быть царицей, и царь... приказал тебя свести с верха.

Желябужская ахнула и повалилась на пол: ей сделалось дурно. Царевна поднялась, глаза ее заблестели.

– Царь ли, боярин? – спросила она.

– Не сам, царевна, по приговору Думы, – смущенно проговорил Салтыков.

– Спасибо тебе, боярин, за твои хлопоты обо мне, – не слушая его, говорила царевна, – царь никогда не сослал бы меня отсюда, ты постарался об этом... Что ж, спасибо... это, видно, боярин, за то, что любила я тебя... что ты люб, дорог мне был, спасибо еще раз, – добавила царевна.

Салтыков задрожал, ступил шаг вперед; он готов был броситься ей в ноги, целовать эти ноги.

– Зачем же оскорбила?.. Зачем оттолкнула?..

– А тебе бы хотелось, чтоб я полюбовницей твоей была? Опомнись, боярин!..

– Царевна! – простонал Салтыков.

– Ты ошибаешься, боярин: здесь больше нет царевны, я – Марья Хлопова.

– Прости меня, царевна! Прости окаянного! – молил, глотая слезы, Салтыков.

– Бог простит, боярин, а теперь прощай, пора мне собираться в путь.

Салтыков еще хотел что-то сказать, но не мог – слезы душили его, он старался сдерживать рыдания. Царевна глядела на него с жалостью. Махнув рукой, боярин чуть ли не выбежал из покоя.

Едва он успел скрыться, как царевна зашаталась и без памяти повалилась в кресло.

## Глава XIV

Две недели уже, как живет царевна с бабкой и дядей на своем старом, родном пепелище, в доме своего отца. Отцу была оказана почему-то милость, его послали воеводой в Вологду. Невесело жилось царевне дома: вспоминалась ей дворцовая роскошь, успела она отвыкнуть от этой простоты, чуть ли не бедности, но пуще всего обидно было ей, что всю эту напасть устроил Салтыков; пусть бы уж строила козни великая старица, а то ее любый боярин!

Не легче было и бабке: трудно было отказаться ей от ожидавшего ее звания придворной боярыни и того почета, который был связан с этим званием; трудно было так же, как и внучке, отвыкать от придворной жизни.

Только и была довольна и счастлива по-своему старуха Петровна. Извелась она совсем без своей Марьюшки; спать ли ляжет, встанет ли – все ее дорогая перед глазами, и плачет старуха, горько плачет, зачем отняли у нее дитяtko. Сильно постарела она за время житья царевны во дворце; а там услышала она про болезнь ее, сколько ни просила, ни молила она, чтобы отвели ее к царевне, чтобы дали хоть одним глазом взглянуть на нее, все было напрасно. Сколько раз говорила она, что за ней там и ухаживать никто не сумеет, не угодит никто, кроме нее, – в ответ на это старуху только пугнули, и снова забилась она в свой угол горевать да оплакивать свое дитяtko.

Наконец наступили тревожные дни у Хлоповых. Шепот да сговоры разные, точь-в-точь как было тогда, когда отняли у нее Марьюшку и отвели во дворец. Не понимала старуха этой тревоги, только сердце ее чуяло что-то недоброе.

Привезли царевну. Как увидела ее Петровна, так и ахнула; расплакалась старуха, только слезы эти были совсем не те, что прежде. Теперь плакала она от радости, что снова видит свое дорогое дитяtko, что опять она будет ухаживать за ней.

Тяжесть царской опалы ступевалась перед этой радостью; она не верила себе, не верила своим глазам, что это Марьюшка, что это ее дитяtko перед ней; она целовала, обнимала свою боярышню, и поцелуям и ласкам не было конца.

Прошло еще несколько дней. Перед домом Хлоповых остановилась повозка, около нее прохаживались несколько стрельцов, готовились отправлять бывшую царевну в Тобольск, в ссылку на житье.

Сколько ни отбивался мягкосердечный царь, сколько ни сопротивлялся – его чуть ли не силою, по обыкновению угрожая государственными смутами, заставили услать дорогую ему Настюшу со всей ее родней в ссылку.

Грустная, заплаканная вышла царевна с бабкой и дядей из дома, за ними ковыляла Петровна. Сели в повозку и двинулись в путь, распростившись навсегда с Москвой. Быстро проехали они город; кругом поля, лес. Москва стала исчезать, только золоченые главы соборов да Ивана Великого ярко блестели издалека. Царевна глаз не отрывала от них, а здесь же, рядом с соборами, виден и царский дворец и царицын верх; видны ей и окна тех покоев, в которых жила она. Она грустно, задумчиво смотрела на исчезающую перед ней Москву, и слезы медленно скатывались по ее лицу.

– Не тужи, дитяtko, везде живут люди, – утешала ее Петровна.

Царевна не слышала ее. Она все продолжала смотреть вдаль, а Москва между тем пряталась за пригорками, исчезала. Вот еще раз, последний раз блеснула глава колокольни и исчезла навсегда из глаз развенчанной царевны.

## Развенчанная царевна в ссылке

### Глава I

Тихо в воздухе, серебряной, посыпанной бриллиантовыми блестками пеленой кажется широко раскинувшаяся степь в Тобольской губернии, и каким-то резким контрастом этой блестящей белизне представляется темно-зеленый хвойный лес, между деревьями которого виднеется новый сруб избы; вдали направо сквозь морозный прозрачный воздух рисуется Тобольск.

День ясный, солнце ярко обливает своим светом снег и слепит глаза, колет их, из глаз невольно катятся слезы, и как-то покойнее делается глазам, словно отдыхают они при взгляде на темь лесную.

Издали доносится стук топора. В лесной чаще, не далее как в двухстах – трехстах саженях от избышки, надвинув на затылок шапку, усердно взмахивая топором, пожилой уже человек рубит молодой ельник, который так и валится один за другим; за ним едва успевает подхватывать его и оттаскивать в сторону, складывая в кучу, молоденькая девушка, одетая в зипун, подпоясанная кушаком, с закутанной платком головой. Из-под этого платка только и видны были одни крупные черные, блестящие глаза.

Девушка, видимо, устала, работа ее делалась медленнее и медленнее, ноги едва двигались; наконец, дотаскив последнюю ель, она бросила ее, руки ее опустились, ноги подогнулись, и она не села, а, скорее, упала на кучу дров.

– Аль устала, Настя? – с участием спросил ее рубивший. Девушка при этих словах вздрогнула, быстро взглянула на говорившего, и какое-то необъяснимое чувство проскользнуло в ее глазах.

– Сколько раз уже просила я тебя, дядя, не звать меня Настей, какая я Настя, была Марьей и буду ею, – проговорила девушка. В ее голосе слышалась мольба.

Ее собеседник опустил топор и поднял голову.

– Была ты Марьей, да сплыла. Тебя нарекли Настасьей, так тебе ею и оставаться. Не кто другой, митрополит нарек! – проговорил он.

Девушка вздохнула и опустила голову. Дядя ее, слегка покачав головой и поправив съехавшую совсем на затылок шапку, снова принялся за рубку.

Кто бы узнал теперь в этой девушке, работающей и одетой как простая крестьянка, Настасью Ивановну, царевну, невесту Михаила Феодоровича, ласки которой искал так жадно сам царь, взгляда которой достаточно было для того, чтобы заставить могущественного, сильного временщика Салтыкова делать все, что ей было угодно, – той, перед которой кланялись и ухаживали боярыни, бояре, весь двор, за которую молилась вся Русь, которую поминали на ектениях во всех церквях.

Недаром Марьюшка не любила и просила никогда не называть ее Настей, именем царевны; оно напоминало ей то счастливое время, которое уж не воротится больше никогда, и воспоминание о нем было для нее тяжело, горько. На что бы она ни решилась, чем бы ни пожертвовала она, чтобы воспоминание об этом золотом времечке умерло в ней, заглохло навек, чтобы даже как о сне не вспоминать о нем.

А тут как назло то тот, то другой чем-нибудь да напомнят ей о прошлом, разбередят не закрывшуюся еще рану, встревожат, вспугнут ее молодую душу, и закручинится, затуманится Марьюшка. Вот и теперь снова затосковала она. Ярko всплыла перед ней дворцовая жизнь, вспомнился ей молодой, красивый царь, так ласково заглядывавший ей в глаза, называвший ее такими нежными, ласковыми именами... Сколько счастья обещал он ей, а теперь... теперь...

изба с голыми стенами; вместо сводчатых расписанных потолков – закопченный, черный накат; вместо бархатных скамей, парчовых кресел – голые еловые скамейки; вместо роскошной, полной довольства и покоя жизни – труд, нужда и постоянная забота о себе и других.

– Сама... всею сама виновата!.. – в тоске шепчет она... – Зачем я глядела ласково на этого злодея... говорила с ним... он невесть что и подумал, невесть чего и захотел... да нет, нет!.. Я сама любила его, ах как любила... лукавый попутал... а тут эта болесьть... и из чего только!.. Знать, так нужно было! Ох, горемычная я, горемычная!

Задумалась она о своем горьком житье, о своей незавидной, несчастной участи и не видит того, что Хлопов давно уже стоит около нее и заботливо, с участием глядит на нее.

– Что с тобой, аль недужится? – спросил он наконец, наклоняясь к Марьюшке.

Та при его голосе вздрогнула и, подняв голову, быстро взглянула на него; на ее длинных ресницах повисла замерзшая слезинка.

– Нет, ничего, дядя, устала я очень! – поспешила ответить она.

– Устала! А плачешь-то о чем?

– Тяжко что-то, дядя, так тяжело на душе, что и не знаю, все старое из головы не выходит, а тут ты еще... – она не закончила; судороги сжали ей горло, и она, припав головой к плечу Хлопова, зарыдала. Дядя побледнел, жаль ему было Марьюшку, но вместе с тем он понимал, что помочь ей он ничем не может, не в силах, что ей суждено провести остаток жизни здесь, среди этой белой степи, в тени этих еловых деревьев; а сколько ей придется жить, один Бог ведает, она так молода еще, так много еще предстоит ей, только чего?

«Нужды да горя!» – словно подсказал ему кто.

Хлопов в бессильной злобе сжал кулаки: в настоящую минуту он готов был идти на все, вызвать на борьбу всех недругов; он чувствовал в себе какую-то необыкновенную силу, но вместе с тем сознавал ясно, что сила эта хуже бессилья, что он был связан, скручен по рукам и по ногам, словно в тенетах находился он, из которых выпутаться ему было невозможно.

«Пристроить бы ее куда-нибудь, – думалось ему, – да как пристроить-то? Замуж выдать? За кого? Да нешто можно выходить замуж царской невесте, хоть и опальной?»

А Марьюшка все плачет и плачет, все тело ее вздрагивает от рыданий. Хлопов обхватил ее голову руками и прижал к себе.

– Ну, будет, перестань, голубушка, старого не воротишь, нечего, значит, и убиваться. Пойдем-ка лучше домой, гляди, солнышко-то уж где, скоро и стемнеет, – проговорил Хлопов.

Марьюшка понемногу успокоилась. Хлопов, обхватив веревкой связку дров, взвалил ее себе за спину, Марьюшка сделала то же, и они направились к своей избе.

Пока добрались они, в лесу совершенно стемнело. Паром и дымом пахнуло на них в отворенную дверь. Желябужская, состарившаяся, казалась дряхлой старухой, за перегородкой стонала Петровна.

– Что, не легчает? – спросила озабоченно Марьюшка Желябужскую, указывая глазами на перегородку, за которой лежала Петровна.

Та отрицательно покачала головой. Марьюшка наскоро разделась и пошла к своей мамушке.

В избе наступила тишина, никому не говорилось, не в охоту было, каждый был занят своими мыслями.

– Что ж, ужинать, что ль? – вдруг обратился Хлопов к Желябужской.

– Сейчас собирать стану! – отвечала та, поднимаясь. – Марьюшка! – кликнула она.

– Что? – отозвалась та.

– Иди ужинать, я собираю.

– Не хочу, бабушка, я легла уж.

Продрогшая, усталая, она уснула скоро, и снова ей стали мерещиться царские палаты.

Снится ей, что сидит она в своем девичьем царском венчике на верху, окруженная боярынями, все с любопытством смотрят на нее: чем-то она порадует стоящего перед ней на коленях боярина Салтыкова, выданного ей царем головою.

А она глядит на него вся зардевшаяся, сконфуженная, и люб-то он ей пуще прежнего, и не наглядится она на него после разлуки, и злоба лютая кипит в груди у нее, и хочется рассказать ей злодея, отомстить ему за прошлые муки, за прошлые страдания. И жалко, ох как жалко, а он стоит и так любовно, ласково смотрит, точно как тогда под Троицей.

Вдруг словно туман какой застлал все; сквозь сон слышался ей сильный стук, словно кто в окно к ним стучит, потом голоса раздались; слышит Марьюшка, но не разберет, кто это говорит, о чем говорят; она хочет открыть глаза, но сон, тяжелый, глубокий сон снова охватывает ее. Видит она, что перед ней стоит царь, такой ласковый, приветливый, взял ее за руки, в глаза смотрит и говорит что-то, только что говорит, она никак не разберет.

– Марьюшка! Марьюшка! – слышится ей дядин голос.

«Что ему нужно, зачем он мешает нам?» – думается Марьюшке.

– Марьюшка! – снова кричит дядя.

Царь исчез.

– Марьюшка!

Марьюшка открыла глаза и вскочила. Ее действительно звал дядя.

– Что такое? – с испугом спросила она.

– Подь сюда! Скорей! Милость царская! – взволнованно говорил Хлопов.

Марьюшка, накинув на себя наскоро зипун, выскочила к дяде; там стоял какой-то незнакомец, не то боярин, не то подьячий, весь закутанный, не разберешь.

Хлопов сиял, Желябужская смотрела как-то растерянно на незнакомца.

– Что? Какая милость? – спросила озадаченная, перепуганная Марьюшка.

– Милость! Царская милость! В Нижний нас перевозят, жалованья больше дают. Поняла, царь не забыл, к себе поближе зовет... знать, правду познал!.. Знать, недруги-то, злодеи наши не устояли!..

Марьюшка побледнела, задрожала.

– Так вот, вот что он мне сейчас говорил, ласковый, да не разобрала я! – проговорила она, плача, и с этими словами бросилась на шею к бабке. Та расплакалась в свою очередь.

## Глава II

Гул стоит над Москвой от колокольного звона, все сорок сороков заговорили разом, народ толпами бежит к Арбату, к Смоленской заставе, сам царь с матерью, со всеми боярами и чинами придворными поехал туда. Сегодня большой праздник для Москвы, она встречает отца государева, митрополита Филарета, возвращающегося из польского плена, встречает своего будущего патриарха.

Торжественно, медленно сквозь людскую толпу, запрудившую дорогу, движется царский поезд, народ без шапок, падает на колени, кладет земные поклоны, царь весело глядит по сторонам, Филарет благословляет народ. Какой-то восторг охватил всех, все радовались царской радости, только лица некоторых бояр были пасмурны, невеселы, а особенно хмурились и глядели исподлобья брата Салтыковы. Понимали они, что с приездом Филарета многое должно измениться: этот человек видел разное, помнит он и времена Грозного и Годунова, был он и патриархом в Тушине, ко всему пригляделся, все изведал, это не то что молодой, неопытный, мягкосердечный Михаил Феодорович. Конечно, Филарет будет теперь царствовать, заберет все управление государством в свои руки, не позволит не только им, Салтыковым, властвовать и творить, что им вздумается, а теперь, пожалуй, и сам царь отодвинется на второй план. Подумать было о чем. Нужно было постараться спасти свое влияние при дворе. Положим, Филарет только человек, имеющий свои слабости, но пока узнаешь их – сколько воды утечет; в это время очень легко попасть в свои вотчины и по указу царскому поселиться в них на веки вечные. Перспектива крайне неприятная.

И они не ошибались. Филарет, перенесший немало невзгод в своей жизни, хотел быть властителем. Власть так заманчива! Так неужто же он, сделавшийся теперь первым лицом в государстве, будет терпеть и не столкнет с дороги Салтыковых и им подобных?! Теперь волею-неволей придется ступать и самой великой старице; для нее с прибытием Филарета прошли те времена, когда она делала что хотела, когда молодой царь слепо повиновался ей во всем, смотрел ее глазами, слушал ее ушами и делал только то, что приказывала ему великая старица.

Поезд долго двигался по Арбату, потом свернул на Знаменку и наконец остановился в Кремле. Торжественно, с почетом взвели митрополита на Красное крыльцо, он шел важно, спокойно, с сознанием собственного достоинства, как будто привыкнув давно к подобным торжественным встречам и шествиям; весь этот почет он принимал как должное. Он понимал, что в настоящую минуту дань отдается не митрополиту, не государеву отцу, а ему лично, как государю и повелителю всей земли Русской. Да разве и мог он думать иначе при виде своего молодого неопытного сына: кому же, как не ему, Филарету, быть руководителем этого юного государя, кому, как не ему, быть царем и править государством?

Взошедши наверх, он остановился; вся площадь была набита народом; как нива, колыхалась она обнаженными головами. Вокруг царя и митрополита сгруппировались бояре, духовенство, высшие сановники. Филарет поднял руки, и в один миг площадь заколыхалась, все повалились на землю, готовясь принять пастырское благословение. Благословив народ, Филарет бросил вокруг себя зоркий, пронизательный взгляд; ему словно хотелось заглянуть в самую глубь души каждого из присутствовавших. Никто не заметил этого взгляда, все были увлечены представившейся картиной, один только Салтыков на лету поймал этот взгляд и понял его. Невольно нервная дрожь пробежала по его телу, и он, вздрогнув, быстро опустил глаза. Филарет понял многое, он узнал сам лично, без помощи других, кто до него был временщиком, знал, кого нужно было устранить, кого повесить и приблизить к себе.

Благословив народ и скромно опустив глаза, он двинулся дальше во дворец. Как-то безучастно, вполне по-монашески отнесся он ко всем празднествам, данным в честь его возвращения. Его не было слышно, никто почти не видал его, но зато он сам издали зорко следил

за всем, что делалось, внимательно вглядывался во все, замечал малейшие мелочи. Как человек бывалый, умевший пользоваться обстоятельствами, приноравливаться ко всему, теперь он увидел, что всякая игра излишня, что у него развязаны руки, хитрить и притворяться перед кем бы то ни было ради достижения власти не стоит, так как эта власть сама пришла к нему, без всяких с его стороны домогательств. Он сознавал, что теперь полный владыка и никто не может встать на его дороге.

На десятый день после приезда он провозглашен был патриархом, получил титул «великого государя» и деятельно принялся за дела. Прежние царские советники невольно должны были отступить и предоставить все патриарху.

### Глава III

Громко разносятся над Москвой удары колокола Вознесенского монастыря. Суетливо бегают по двору в церковь и обратно молодые послушницы; степенно, медленно, опираясь на посохи, двигаются монахини. Наконец раздался последний удар; беготня прекратилась; все заняли свои места; началось богослужение. Прошла почти половина обедни, как в домике, занимаемом Салтыковой, отворилась дверь, и на пороге показалась Евникия, поддерживаемая под руку изогнувшейся Феодосией. Последние дни, как видно, сильно подействовали на нее. Первые же действия великого государя патриарха Филарета Никитича заставили задуматься ее, заставили прозреть и увидеть ясно, что роль ее сыграна, что нужно сойти со сцены и уступить место другим. Теперь нельзя было ничего поделать, так как сама великая старица должна была невольно подчиниться и опустить прежде гордо поднятую голову перед властью, попавшею в крепкие мужские руки. А куда как не хотелось Евникии расставаться с той видной ролью, которую играла она еще так недавно. С воцарением Михаила Феодоровича она была чуть не правительницей Московского государства, положим, не явно, не прямо, но воздействуя непосредственно на великую старицу; теперь же превращалась в простую монахиню, положим, хотя и почетную, как царскую родственницу, но все же от интриг, от влияния она должна была отказаться навсегда. К этому присоединялось еще и нечто другое, которое давило, угнетало ее, заставляло дрожать чуть не каждую минуту, – это опасение, чтобы не выплыло наружу что-нибудь из прошлых темных делишек, пуще же всего боялась она за порчу царской невесты. Жадно прислушивалась она к каждому слову, не выскажется ли кто, не намекнет ли на это страшное для нее дело, но пока все было тихо. Марьюшка как будто в воду канула, словно забыли ее все. Помнилась она только двум человекам: Салтыкову, который трепетал не менее матери при одном воспоминании о ней, да царю, перед которым и наяву и во сне грезилась его любая, кроткая, застенчивая невеста. Все эти тревоги, волнения, опасения за будущее мучили Евникию, состарили в несколько дней. Резче еще заострился у нее нос, глаза ушли еще глубже, лицо все изрезалось морщинами, стала она брюзгливее, ворчала на всех и на все, больше же всех доставалось теперь на долю Феодосии.

Войдя в церковь, Евникия быстро оглядела всех: великой старицы не было. Она начала пробираться на свое постоянное место, устроенное рядом с местом Марфы, перед ней почти-точно расступались, уступая ей дорогу; она молча, опустив глаза, ни на кого не глядя, прошла церковь и, остановившись, перекрестилась и с трудом положила земной поклон.

Ей хотелось хоть в молитве забыть, отрешиться от мучивших ее тяжелых дум, но молитва не помогала ей. Машинально шептала она слова молитвы, а на душе была пустота, в сердце тоже, она не понимала, не могла дать отчета себе, о чем она молится, мысли бессвязной вереницей проносились в ее голове, быстро перескакивая с одного предмета на другой, от одного лица к другому.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.